



Татьяна Мудрая

МЕЧ

И ЕГО ПАЛАЧ

Татьяна Мудрая

Меч и его палач

Текст предоставлен автором
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4925313

Аннотация

Молодой исполнитель суровых приговоров по имени Хельмут не мыслит своей жизни вне наследственного ремесла – так заведено, и не ему этого менять. Даже когда печальная судьба обрекает его на скитания, он не изменяет тому, что считает не столько сословным бременем, сколько предназначением. Главное в жизни начинается дороги. Она приводит Хельмута в города, где ему удастся спасти жизни и избавлять от бесчестья, дарит ему друзей, иногда необычных. Хельмут мужает и добивается всё большего уважения окружающих – немало способствует в том его мантия, унаследованная от необычной «пациентки», пришедшей словно не из его мира. Плащ о двух сторонах, красной и чёрной, которые обозначают одновременно траур и избранность. И когда, наконец, путь Хельмута кончается на том месте, откуда начался, – это уже иной человек, познавший в равной степени тайны жизни и тайны смерти, горечь и славу.

Содержание

I. Двуличневая мантия	4
II. Успение Торригалья	46
III. Хельмут находит друзей	58
IV. Друзья получают своего монаха	79
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Татьяна Мудрая

Меч и его палач

I. Двуличневая мантия

*Вечная мечта палача: комплимент
приговоренного за качество казни.
Станислав Ежи Лец*

Тогда я еще не был ни бродячим экзекутором богоспасаемой Франзонии, ни всеми уважаемым «господином» Города на Скале, ни принесшим военную присягу скондским казнителем. Вообще никем в юридическом, так сказать, смысле не был, кроме как помощником моего деда Рутгера, который отдал мне свою широчайшую практику, но боялся вручить всю полноту ответственности. Нет, шедевр свой я уже выполнил и через обряд прошёл, но это совсем иное дело. И славу приобрел немалую – тоже не в счет. Даже новый меч мой по имени Торригаль, откованный в честь моего личного приобщения к делу предков и уже сполна получивший свою долю кровавого питья, не сделал меня, как считал дед, истинным «мейстером».

Дело в том, что по причине холопского бунта мой меч уже успел забрать ровно девяносто девять преступных жизней, из них девяносто – в последний по счету месяц. Оттого что

на совести воров были безоружные, старики, дети, женщины, ученые монахи, которые молчаливо меня оправдывали, это было несравнимо с тем ужасающим событием, которое некогда обрушилось на моего отца. В один день ему пришлось совершить шесть десятков отсечений у простых солдат противника, взятых с оружием в руках – что было явным беззаконием. Последний десяток жертв отцу пришлось казнить при свете факелов, ибо после каждой упавшей головы он прерывал действо, дабы попросить помилования у судей, которые находились тут же и холодно наблюдали. На следующий же день отец нарочито ущербил свой клинок по имени Горм, не имея времени похоронить его достойно и желая пока обессилить. Надо сказать, что Горму не было подобных во всей вестфольдской, да и франзонской земле, потому что его лезвий почти не надо было заострять: они сами по себе держали заточку. Лишь спустя добрые полгода меч был предан земле со всей подобающей торжественностью. Малый же осколок этого самого Горма был вплавлен в хвостовик моего двуручника – как талисман и чтобы старому клинку не было обидно уходить, не завершив дел. Но теперь наставала пора укрыть и сам Торригаль в земле, пока сотая смерть не сделала его хищником.

В это время и произошла со мной странная и страшная история...

Великое княжество Рутен, которое граничило с нашей

Вестфольдией, обладало тайной. В чем эта тайна состояла, было неясно, однако все наши жители от мала до велика и от крестьянина до знатного крепко сие знали, и отношение к гостям из этих мест было самое настороженное. Даже неизвестно было, как они к нам попадали.

И вот однажды летом около полудня к самым воротам нашего «Вольного Дома», то есть старинного жилища семьи палачей, окруженного широким двором и стоящего в лесу поодаль от города, подъехал роскошный экипаж. Чёрный с выложенными серебром гербами, с кучером на облучке и запряженный парой великолепных вороных шайров. Оттуда величаво вышел рутенец, судя по виду и одежде – знатный, и весьма учтиво спросил, здесь ли проживает мейстер Хельмут, свободен ли он от всяческого рода обязанностей и может ли принять гостя по весьма и весьма важному делу.

Как видите, он уложился в одну фразу.

Дед, который встречал гостя, выразился не так вежливо, но гораздо короче.

– Этот щенок боится округлить сотню и уже как с месяц ни за что не берётся, – буркнул он. – Валит всю как есть работу на меня. Проводить?

Может быть, женщины нашей семьи обошлись бы с чужеземным дворянином поучтивей, но дед был вдов, я пока холостяковал – найти жену мы можем лишь из такого же палаческого рода, а это непросто. Что же до нашего двенадцатилетнего ученика Лойто, взятого из сирот, его женитьба во-

обще рядом не стояла. Хотя паренёк, надо сказать, был видный, и если не честные девицы, то шлюхи на него заглядывались – и, поверьте, не из последних. Он ведь мне с ними помогал. Знаете, небось, что палач на жалованье магистрата обязан еще и иную работу исполнять – быть бабским смотрителем, как у нас говорят. Нет, не бабским старостой, как в войске, – этот указывает, кому с кем ложиться, и берёт себе деньги посетителей, – а вроде профоса, только что не такого грозного.

Отец? Ну, он, по слухам, работал полноправным мейстером в другом месте, неважно в каком.

Я во время их разговора сидел под дубом, который накрывал своею тенью добрую половину двора, и перебирал разные фамильные железки. Я уже тогда их любил не меньше нынешнего, хотя в отрыве от прямого или там страдательно-го наклонения, как говорят в Рутене. Просто за диковинный вид.

Однако приведись случай – я без особой дрожи применил их для добывания знаний, хоть, надо сказать, нравы в последнее время сильно умягчились.

При виде деда с гостем я накинул на все эти безделки тряпицу и выпрямился навстречу.

– Ну, балакайте без моих ушей, – буркнул дед.

Мы раскланялись и представились друг другу. Моего двоюродника звали – ну, скажем, съёр Филипп. Имя как имя.

– Юный мейстер, – прокашлявшись, начал он. – Я хочу

поручить вам дело. Только не отметайте его, даже еще не выслушав хорошенько.

Я кивнул.

– Речь идет о женщине. Её необходимо умертвить, хотя она совершенно невиновна, и все о том знают. Она... как это пояснить? Умирает за чужие грехи.

– Вы не спутали меня с одним из судейских? – спросил я. – Это в их, а не в моей компетенции...

– Я сказал – «необходимо», а не «собираются умертвить», – перервал он меня. – Вы слышали об «ивовых девушках»?

Черт, я и не думал, что этот обычай еще не исчез и даже не запрещен. Древняя суть его в том, что для обновления всего бытия раз в год выбирают невинную девицу или такого же юношу (последнее даже чаще), в течение всего года ублажают чем только возможно, а потом либо сжигают в ивовой плетенке (как говорят, напичкав снадобьями до полнейшего бесчувствия), либо убивают иным образом – часто по ее (его) выбору. Это происходит при полнейшем согласии самой жертвы, которое она обязана регулярно подтверждать в течение всего года: малейшего подозрения в неискренности или в том, что на жертву влияют, достаточно, чтобы всё отменить. Так вот, о Рутении поговаривали, что если другие земли без этого обряда кое-как прозябают, то она попросту клонится к закату. И что сам обряд проделывают как-то на особицу. Тайна? Нет, то была не сама хранимая тайна, а её

следствие, что ли. И не мое дело, собственно.

– Вы понимаете, в чем суть, мейстер.

– Да, но это не значит, что я...

– Послушайте меня. Не мы создали закон, внутри которого существуем. Не нам с вами судить, какой путь нам начертан и имеем ли мы право с него сойти. Весь год мы исполняли любые желания одной из наших женщин. Последним желанием были вы сами.

– Отчего?

– Сэниа Марджан считает, что вы – не просто искусная рука на рукояти меча, но и сердце, умеющее управлять этой рукой. Она знает, как вы после каждой из тех бунтовских голов заново изостряли клинок.

Мой собеседник помолчал и продолжил снова:

– Я не буду говорить вам, что формальные требования закона мы соблюдали. Без этого ваш магистрат попросту не допустил бы нас сюда с весьма странной, на ваш взгляд, просьбой. Заплатим мы щедро, хотя, быть может, не место об этом говорить. Если вы настаиваете, обеспечим вам должную охрану и поручимся перед магистратом за ваше благополучное возвращение. Но вы, разумеется, имеете полное право нам отказать.

– Когда? – спросил я. Про Торригаль и его беду я вообще забыл.

– Завтра около полудня.

– Где?

– Около самой границы, если не стремиться к точности.

А кто к ним обоим стремится, если уж быть честным?

– Я подумаю.

– Прошу вас. Да или нет. Мне необходимо вернуться с вашим словом, чтобы в случае отказа успеть найти иной выход.

Что-то было не так во всем этом.

– Невинную девушку только и можно принять как жертву. Но с другой стороны, такую нельзя казнить, – произнес я. – Верно?

– Мейстер, – ответил наш Филипп, – сэниа Марджан была замужем. Прозвание «игна», которое вы, очевидно, вспомнили, означает не просто замужнюю даму, но мать по крайней мере одного живого ребенка.

– Тогда как...

– Вы ведь еще и врач, – ответил Филипп, снова кашлянув, причем гораздо деликатней первого раза. – Не стоило бы напоминать вам, однако некий чисто телесный признак девства может быть таким стойким, что удалить его может не супруг, а лишь рождающееся от него дитя. Нам довольно одного символа.

Я понял всё – и, как говорится, даже больше.

– Вы хотите, чтобы я за компанию разделался с... не с *признаком*, а с его *символом*. Для очистки совести и особенно ради того, чтобы магистрат не посмел обвинить меня, да и всех нас троих, в несоблюдении закона.

– Не то чтобы прямо так...

Но я перебил его бормотанье:

– Я берусь за ваше дело при соблюдении двух условий. Первое. Обычно магистрат платит мне шесть марок за простую казнь и десять за квалифицированную. С вас я возьму двенадцать. Второе. Эту женщину надо привезти сюда, в Вольный Дом, откуда вы и заберёте нас с нею вместе. Здесь внизу тоже есть камеры, хотя слегка заброшенные, но вполне пристойного вида. Понимаете? Я хочу убедиться, что в деле с сэнией всё чисто.

На лице нашего заграничного дворянина было написано явное замешательство.

– Мы обязаны сохранять как телесное, так и духовное здоровье нашей Госпожи Крови, – чуть напыщенно произнес он. – Помимо прочего, такое обещано ей лично. Содержалась она до того отнюдь не в подземелье.

Эта история забирала меня все больше и больше. Те слова, которые он употребил, – вроде бы народное предание относило их к старшим носферату женского пола. Еще, правда, был Господин Крови в этой истории с первым иудейским обрезанием, описанным в нашей Великой Книге...

– Послушайте, досточтимый господин. Я служу городу и магистрату, а не кому бы то ни было еще. Вы же ныне угождаете сэнии Марджан, ведь так? Спросите ее прямо, быть может, она согласится.

Как ни удивительно, мой важный собеседник кивнул, причем с видимостью уныния. И отправился назад к своей ка-

рете.

Я уж думал, что разделался с этим казусом, когда он вернулся.

– Как скоро вы можете принять сэнию? – спросил он с еще более печальной миной.

– Да как привезете! – воскликнул я, пожав плечами.

Он обернулся назад и сделал знак рукой, явно подзывая кого-то.

Из дверцы, чуть наклонясь, выбралась тонкая фигура в темной одежде, ловко спустилась вниз по откидной лесенке и протянула руки, чтобы принять и спустить другую вместе с большой мягкой сумкой. Две женщины.

Когда они подошли к нам, я увидел, что одна молода и хороша собой, а другая, та, что несла пухлую сумку из ковровой ткани, – вроде и не так чтобы очень. Только вот мимо первой пройдешь и второй раз не оглянешься, а вторая...

Таким попросту не надо быть ни красивыми, ни юными, ни лукавыми, ни глубокомысленными, чтобы одним взглядом вкопать любого мужика в землю по самые уши. Так говаривал мне отец, когда описывал одну свою тайную подружку из высокородных. Чем-то там не вполне добрым для них обоих кончилось... Говорили мне, да я постарался забыть.

– Вот, это и есть сэния Марджан, – проговорил тут Филипп. – И с ней ее компаньонка.

Дело ясное. Как вода в реке после буйного паводка.

Округлое смугловатое лицо, под легким серебряным

ободком – пышные русые косы с проседью, широко расставленные серые глаза с тонкими морщинками вокруг них. Небольшие руки с длинными пальцами. Очень статная и совсем простая в поведении и одежде. Лет сорока, никак не меньше.

Я поспешно здороваюсь и получаю некую смутную улыбку в ответ.

– Мне можно отпустить своих конфидентов, мейстер Хельмут?

Не успеваю ответить, как оба ее спутника издают хоровой вопль на непонятном языке и получают в ответ сходную фразу, но гораздо короче. В это время, наконец, к нашей группе приближается дед, и я с некоторым облегчением вздыхаю.

– Я взял особенного пациента, – решительно говорю я ему. – Попроси Лойто отыскать в нижних комнатах место получше и разместить сэнию как следует.

Потом я горько сожалел, что так сразу влепил наше жаргонное словцо. У простых людей оно, собственно, означает просто больного, но мы, палачи, всегда имеем в виду его буквальный смысл. «Тот, кто терпит страдание».

– Я тоже с этим лопоухим пойду, – хмыкает дедусь, – послежу, чтобы ничего незаконного не допустил и не пропустил. А ты обед пока разогрей. На четверых.

Что я и сделал. Отсутствие хозяек – прямо казнь египетская!

– Ну и как она тебе пришлась? – спросил я деда, когда мы уже отправили Лойто в камеру с миской густой чечевичной похлебки для нашей постоялицы и доедали что после них обоих осталось.

Дед покачал головой.

– Не знаю, внучек, ох, не знаю... Первое, что сделала, – попросила тёплой воды и тряпку, выставила нас с мальцом и свою суму за дверь и на скорую руку отдраила все помещение. Разбирали ее вещицы по статьям закона мы уже потом, при ней самой. Ничего острого, ничего бьющегося. Жестяная кружка с двойными стенками, чудная такая, – говорит, тепло сохранять, когда всякие травки завариваешь. Странная штукавина – чтобы в железе тепло держалось? Чашки-плошки-ложки из мягкого дерева, железный кувшин в жестяной укупорке, термос называется. Для сохранения горячего питья и воды – колдовство под пару кружке. Еще на нем такие цветы затейливые, каких во всех наших четырех странах не встретишь. Хрю...хризантемы называются. Вот. Другой кувшин, из фаянса, – умывальный. Хотела было оба отдать – я разрешил. Ещё и жестяной тазик присовокупил. Свечи с ароматом позволил тоже. Только, говорю, под колпак ставь. Я ж понимаю – читать тебе захочется, да и от парашки отхожей кой-чем нехорошим потягивает. Тёплые носки, второе платишко, такое же невзрачное, как на ней, шерстяная камиза до полу, туфли, деревянные подошвы с ремешками. Толстенная хлопчатая простынь навроде хилого одеяль-

ца, флисова, что ли. Уйма каких-то пахучих салфеточек – говорит, вместо непитьевой воды обтираться. Бельё всякое...

Он смутился.

– Дед, ты чего, блядских кружавчиков не видал, что ли?

– Такие панталоны – первый раз вижу. Плотные, на застежках сбоку и аж похрустывают, когда сомнешь. Спросил – говорит, для лежачих больных, впитывают... Хм.

– Чтоб на эшафоте не осрамиться, – холодно заключил я. – Хорошо же ее там, в Рутене, холили-лелеяли.

– Хэ, – дед подергал себя за бороду. – Ты чего меня не спросишь, о чем ихняя троица перепиралась на иноземный манер?

– Так ты понял, выходит.

– С пятого на десятое. Этот хмырь благородный ругается, что наша Маша навязалась к ним в компанию полюбопытствовать. Он, зуб даю, надеялся на четкий отказ от навязшей мысли. Девушка горюет, что и ей, и всем троим враз отставку дали – неначе живодееры здешние ее мадамочку обидают. Кучер тоже, знаешь ли, типа хранитель королевского тела. А она сама...

– Ну.

– «Это мне, а не вам голову отрежут, так что командовать парадом буду я». Дословно, клянусь дружком собачьим!

– Есть кое-что еще?

– Угу. Я сказал сэнии, так-то вежливо, что ей три совсем последних желания лично от нас положены. Вкусная еда, бу-

тылка отменного старого вина из фамильных погребов и горячий справный мужик вместо ночного колпака.

– Ну ты, дед, и снахалил.

– А она этак головку на сторону и говорит: «Чем у вас из кухни пахнет? О, давно я упревшей чечевицы прямо из духовой печи не пробовала, да еще с ржаным хлебушком. Вино пить – жаль, привычки такой не приобрела. А кто этот приятный молодой кавалер – уж не ты ли?»»

– Посмеялась.

– Ну, не так чтобы. Знаешь, после такой улыбки, как у ней, что угодно за монету из чистого золота примешь.

Я резко звякнул ложкой о тарелку:

– Дед, не ты ль мне сто раз толковал – не давай себя приручить? Не якшайся с пациентами? Особенно с такими.

И оставил его наедине с горой немытой посуды.

Крошечные камеры с низким потолком, числом три, находятся в подвале дома рядом с «кунсткамерой», зимней угольной печью и баней. Вход сюда отдельный, приходится в любую погоду сновать из двери в дверь. Комнатушки эти – не для заключения, скорее для своего рода передержки: когда пациента требуется подготовить к другой тюрьме или подлечить после процедур. Работы на дом мы никогда не берем, хотя о том и ходят всяческие скверные анекдоты. В смысле исторические рассказы.

По дороге туда я подхватил рабочий инструмент, увернул

в тряпицу и понёс прятать в подвал. Обзор за неимением свободного пространства здесь отличный, из конца да в конец взор стрелой пролетит, как писал поэт. Так что я мигом углядел скрюченную фигурку нашего Лойто на скамье рядом с одной из тяжелых низких дверей с поперечными засовами. Подошел, толкнул в бок.

– Спишь на часах?

Он вздрогнул, усмехнулся:

– Нет, дядя Хельмут. На старинной пытошной лавке.

– И чего дожидаться?

– Посуды, – глуховато донеслось из-за частой решетки, которая перекрывала щель в поржавевшей дверной обшивке. – Лойто, я их оба кое-как сполоснула, что ж ты объедки через двор мимо дома понесешь.

И в железный кошель, перекрывающий сетку и прорезь, тихо звякнули два латунных блюда.

– Так. Бери в одну руку латунь, в другую моё железо, пристраивай на место – и вообще дуй отсюда скорым шагом, – приказал я.

Отстранил его и, помедлив будто бы в нерешительности, вошел, переступив высокий порог. Благо дверь оказалась не заперта.

Женщина неторопливо встала мне навстречу, отложив с колен рукоделье. Сиденье своё самого начала передвинула поближе к щели и ела не сходя с этого места? Наверное, так. Свет, по капле истекающий из небольшого оконца, забран-

ного двумя толстыми прутьями крест-накрест, еле осветил бы её фигуру, если б не ароматный огонь, мерцающий в трех ажурных металлических колпаках. Дым его заполнял комнату и оттеснял иные запахи.

– Привет вам, сэниа... Мария?

– Скорее Маргарита, если уж переводить. Чистый жемчуг, Маргарита, как поют испанцы в песнях... Знаете?

Песен я не знал, кто такие испанцы – не догадывался. Зато, наконец, понял, чем она развлекается: щиплет корпию из старых тряпок, которые дед ей всучил. Такие нитки просто незаменимы для мокрых перевязок и гнойных ран.

– Я хочу поговорить с вами.

– Разумеется, вы в своем праве. Вы хозяин, я – ваша служанка... Присаживайтесь, прошу вас. Табурет здесь только один, зато скамейка широкая. Полутораспальная.

Я сел туда, куда мне указали, и – замялся. Попутно представил, каким она меня видит: кривоватая оглобля, что навстоячку еле умещается под низким потолком, физиономия бледная, глаза тусклые, волосы непонятно какого цвета. Плечи хоть широки, ключицы длинные и прямые, как стрела (что неудивительно при нашей работе), но грудь едва ли не впалая. Ну и что нам с того?

– Я хотел бы знать. Вы полушутя ответили моему Рутгеру...

– А. Понимаешь, мои последние желания все уже исполнялись. Когда тебя целый год подряд носят прямо в гор-

сти и впивают все слова, что слетают с твоих нежных губок, только и хочешь под конец, чтобы меня-оставили-наконец-в-покое!

Эта Маргарита неожиданно повышает тон.

– Потому вы и согласились на моё требование?

Она усмехнулась.

– Нет. Простой расчёт: если тебя вынут из мягких домашних тапочек и в тот же миг выставят на высоком помосте, это будет чистое потрясение моих основ. Им этого не нужно.

– Кому?

– Да моим рутенцам.

– Вы так их любите?

– Ну, мальчик, надо же кого-то любить.

– Хельмут.

– Гита. Коротко и легко запоминается.

– Гита. Вы можете рассказать мне, что дарили вам ваши соплеменники?

– Если это не досужее любопытство. На последнее нет времени.

– По какой причине вы указали на меня, сэниа Гита, помните?

– Поняла тебя. Сердце, значит, требует? Ну что ж. Я захотела одиночества. Роскошного одиночества. Огромный отель... то есть дворец... Нет, просто дом с огромным парком. Нет, скорей даже небольшой замок посреди полудикого леса. Лиловая глициния по всему фасаду. Черешчатые дубы,

серебристые клены, медные буки, растущие в глубокой тени, чтоб проявилась их темно-багряная окраска. Золотистые ясени. Цветущие липы с их невероятным медовым запахом – всю жизнь именно о таком мечтала. В парке целая свора веселых собак – эти были не мои, я же понимала, что надолго меня не хватит. Верховые прогулки на смирных лошадках, с блестящей свитой. А внутри дома – библиотека и камин для холодных вечеров. Изысканная еда. Музыка и рукоделия. И умные собеседники, которые являются по первому зову. Эти вот, кого вы с дедом видели, и многие еще. Я, конечно, прекрасно знала, что все они – мои сторожа, но могла выбрать и приблизить к себе любого. И отослать тоже.

– Королева.

– Госпожа Крови, – ты ведь слышал.

– Это верно?

– Что – верно? Знаешь, Хельмут, я ведь урожденная скондка, меня в Рутен муж привез. Он четко верил, что его милая земля как-то особенно проклята из-за своего личного Каина. А кровь только кровью и смывается. Я ведь была его на двадцать два года младше... Светоч мудрости. Стена неприступная. Источник нежности – мне вечно в жажде быть... Знаешь, как это сладко – когда тебя любит поистине зрелый мужчина! Сладко – покуда он не состарится. Или пока его не убьют в нелепой карманной войнушке. В маленькой, но очень гордой стране Ичкер.

Я такую не знал, но на всякий случай глубокомысленно

кивнул.

– Вот почему вы согласились?

– Да нет. Напрочь отравить мне существование даже такой штукой, как смерть близких, невозможно. Похожие кладбища ведь внутри любого из нас. Да и, кстати, понурое сердце в жертву не годится.

– Не понимаю тогда, что могло вас подвигнуть.

– Хельмут, исповедовать меня будут завтра. Непосредственно перед тем, как станут вешать на меня всех своих козлов отпущения, и часа за два до теснейшего общения с тобой.

Я почувствовал себя так, будто заглянул в тайное тайных храма. Или как тогда, когда мой лучший школьный друг Ханкен-Конопушка ни с того ни с сего вдal мне кулаком под дых. И, я так думаю, Гита прочла все сии чувства на моей симпатичной открытой физиономии.

– Юноша, не стоит принимать меня так уж всерьёз, – рассмeялась она. – Хотя ты упорно лезешь не в свои дела, да еще и в дела секретные, – понять тебя можно. Вот что. Я тебе выдаю всякие рутенские тайности, исполняю любые твои беззакония, но баш на баш. Я одно – и ты одно. По рукам?

– По рукам, – ответил я как мог беспечно и протянул свою шершавую ладонь. Она легонько хлопнула по ней кончиками пальцев.

– Давай я отвечу на твое первое. Что могло подвигнуть... Знаешь, никто из нас вперед других не высовывается. Все

знают, как это происходит. К тебе подходят, когда ты остаешься одна, и вежливо предлагают, причем даже не распишывают, как и что. Не обижаются, если ты отвечаешь отказом. Но отказов мало, потому что наши персоны просчитываются заранее и все наши обстоятельства учитываются наперёд. Вот так попросту. Скучно, да?

– Теперь что, моя очередь?

– Если хочешь. Можно и подкопить вопросы.

– Говорите сейчас.

– Хельмут. Эти мои компатриоты то ли не знают, то ли нарочно не говорят. Мне как на плаху придется ложиться – низко или высоко? Ничком или навзничь? Волосы подстригать – видишь, какие длинные, – или так оставить?

Честно говоря, я остолебенел. Но мигом оправился. Черт, это же вообще было моей прямой обязанностью – предупредить и подготовить!

– Я ведь плахи не видел, – ответил я как мог спокойнее. – Мне дадут проверить только завтра. Ее и вообще вполне может не быть – это для топора и мясницкой работы, а мечу она нередко и помешать может. Лицом кверху – это вообще делают в наказание. Косу можно вмиг отрезать, только если ее держать или закрепить на особом кольце, вам будет куда как надежнее.

– Ну да, чтобы не дёрнулась по нечаянности в последний момент, – кивнула она. – Сама того боюсь.

– А высота – нам с Торригалем всё равно.

– Это хорошо, – протянула она. – Знаешь, в наших краях женщин иногда к стулу привязывали, так это, как я понимаю, куда труднее исполнить как следует.

В моей земле – тоже, но об этом я не стал рассказывать. Ни к чему. Равно как и то, что если уж мы кладем под меч деревяшку, то на ней приходится не столько рубить, сколько резать.

– Если вы еще о чем-то таком хотите спросить, это не в зачёт, – сказал я вместо этого.

– Спросить – нет, попросить – да. Хельмут, я не хочу, чтобы ты выполнял работу своего подручного. Это же Ритуал Ритуалов. На колени я сама опущусь, если надо. Поправить позу – тоже пусть не ты. И не Лойто, очень тебя прошу. Там своих работников двое, ещё в ногах у тебя запутаются... Да, *мои* ноги связывать вроде как не понадобится. А руки... Мне захочется ухватиться за что-то – ну, вроде поручня на кресле зубодера. Это можно? Посмотри там, когда станешь проверять. И глаза – может, просто зажмуриться?

– Там выберете. Но куда надёжней сделать по традиции.

– И самое главное. Подходя, четко ставь ногу. Татя в ночи я не хочу.

– Так приходит не одна смерть, но и Бог, сэниа.

– Да, только ты – не Он. И не она.

На этом пафосном месте в дверцу гулко постучал дед.

– Эй, Габи, там Лойто с рынка много чего утащил. Что твоя болезная дама будет кушать?

Гита переглянулась со мной и произнесла с каким-то внезапным озорством:

– Это что, тот самый налог – каждый палач имеет право бесплатно взять у торговков всё, что в руках унесет? Надеюсь, у парня руки длинные и загребушие.

– Оттого его и бьют часто, – улыбнулся я.

– Угу. За превышение полномочий и нахальство контрибуции, – подхватила она. – Так что заказываем? Сыр есть – такой, чтобы с него вода капала? Брынза или горный...

– Козий, – доложил дед. – Вовсе сухой.

– Так это же самое то. А хватит на всех, чтоб не обидно было?

– Тебе хватит, сэниа. С травой, с хлебом?

– И порезать ломтики тонко, но тупой стороной ножа, чтобы складочками и морщинками пошло. Попробуйте, самый смак выйдет.

– Я тогда пошёл, – ответил я. – Тоже поужинаю.

Только вот кусок мне в горло никак не пролезал. Кое-как уговорив себя поесть и дождавшись, пока наш паренек принесет из камеры Гиты порожнюю посуду, я снова туда вернулся.

На сей раз корпии уже видно не было. Горели еще две свечи, толстые, поставленные в широкие блюда с водой во избежание пожара.

– Не могу все-таки понять, – продолжил я сходу, – отчего вы так спокойны. И так мало боитесь.

– Это договорной вопрос? – ответила она мне навстречу.

– Пусть так.

– Учтём. Так вот, Хельмут. Веселое бесстрашие – самая священная моя ценность помимо моей же крови. Если бы я была, скажем, мучительно больна – это бы цену заметно сбило. Если бы хотела обнять Белую Госпожу как невесту... ну, как жениха – уничтожило бы вообще. Именно мое стойкое веселие духа испытывали всякими поблажками: как высоко я их заценю, так сказать. Чем более храбра женщина, чем меньше ей нужно от жизни – тем больше гарантий, что древнее проклятие будет снято навсегда. Вот какие в игре ставки. Понимаешь? А больше мне ответить тебе нечем.

– Это как объяснить, почему у тебя волос русый, а не белокурый. Верно?

– Именно, – Гита кивнула. – Доволен? Исчерпала я твоё любопытство?

– Да.

– А теперь сам подставляйся. Как случилось, что знаменитый Готлиб из Бергена пропал без вести?

Снова она вышибла из-под моих башмаков табуретку.

– Отец...

– Говори. Выдать вас всех я, по всей видимости, не успею.

– После того, как погибли те солдаты и Горм, батюшка стал... ну, известен. Знаменит своей искренностью и прямо-той. И таковым зван в хорошие семьи. Знаете, что такое фа-ма?

– В Рутене сие называют «мода на человека».

– Там... была одна молодая вдова. Привечала по-всякому, возила с собой переодетым на новогодние маскарады. Знаете, на таких сборищах принято распускаться.

– Пускаться во все тяжкие. Карнавализация а-ля Бахтин...

– Что?

– Чушь и чепуха. И что – их разоблачили по закону жанра?

– Однажды сорвали с него маску и сделали вид, что вдовушка была им обманута.

– Дали ему в зубы дворянство – чтоб ее вконец не опозорить.

– Но не родовое, а пожизненное и ненаследуемое.

– А она в те поры была брюхата.

– Мною...

– Прости, мальчик, я поняла. Он-то сам жив остался?

– Лет пять назад вроде был жив.

Гита обхватила плечи руками, будто озябла.

– Так. Что хотела – то и получила. Выкладывай, что там тебя в прикупе.

Я знал, о чем следует ее попросить. Но не мог.

– Хельмут, слух у меня очень хороший, особенно на Филловы сплетни.

Она встала.

– Да, вот еще какая у меня будет просьба. Я у себя привыкла каждый день мыться, а завтра будет совершенно не до

того. Устроишь?

Я еле кивнул и пулей выскочил за дверь.

Хотя выставка особого инструментария у нас давно была не при деле, ради нашего удобства она соседствовала с отменно устроенной баней. Дело не только в том, что люди предполагали с первого раза: по старинной традиции, присяжной палач на твёрдом жалованье смотрел не только за публичными девками, но и за двумя выгребными цистернами, куда стекались поганные воды из города и вообще со всей округи.

Ну, я кликнул нашего парня и велел разжечь самые большие масляные лампы, растопить печку, набрать воды на весь дубовый чан, который был ему по шею, и согреть, натащить побольше мягких чистых тряпок и постелить поверх теплой мраморной лежанки, которая была хитроумно соединена с печью, а кроме того – как ни на то сладить со ржавым замком, врезанным в дверь, что соединяла обе каморы. И поскорей.

Пока он этак трудился, я со свечой в руке долго проверял «железки», «деревяшки» и «гибкую кожу». Искал кое-что хорошо позабытое.

Как доброму приятелю, кивнул макетам виселицы и стоячей дыбы в четверть натурального роста. Они нужны, чтобы точно рассчитать, как уронить человека, в единый миг сломав ему шею, и как ловчее вывернуть ему плечевые суставы, чтобы он если не лопату, так хотя бы ложку мог дер-

жать в руке, если выживет по приговору суда. На кошках и собаках мы, вопреки расхожему мнению, их не испытываем, единственный живой предмет, который побывал в хитроумных петлях и скобах, была моя рука.

Так. Распертая изнутри стальными лепестками кожаная груша для лона, сиречь капиструм. Если бы вдвое меньше, тогда ещё ничего. Когда-то мы обязаны были творить им осквернение на глазах у всего народа – если казнящая девица совершила нечто совсем уж гнусное. Это еще с тех времен памятка.

...Тонкие чаусские ножи из мягкого железа – о днище глиняной чашки вмиг наточишь. Дед говорил – снимать кожу.

Промежуточная дверь подается с застарелым скрипом.

– Мейстер, у меня готово для сэнии Марджан.

– Тогда приглашай.

О замках и засовах на ее двери мы дружно позабыли.

Когда я заглянул в жарко натопленную камору, Гита стояла уже без платья, обернутая по самые плечи странного вида пушистым полотнищем в ярких цветах. Поверх толстых носков – патены, деревянные скамеечки для ходьбы по мокрому. И – странно, только теперь заметил на шее некий шероховатый как бы желудь на витой шелковой цепочке.

– Идите в воду и отмокайте, сэния, – кивнул я, стоя на пороге. – Да подольше. Я глядеть не буду.

...Плоские мешочки с травами. Им в подвале, собственно, не место, но травки свежие, летнего сбора, едва успели завя-

литься. Кружка вроде пивной, высокая, с откидной крышкой на петлях.

Нет, нож тоже нельзя, стыдно. Это тебе не поросенка холостить. Тоже наше подсобное ремесло, кстати.

– Сэния, вы как там?

– Как в аду. В зеве печи пламя мигает, пар клубами стоит, аж тело тает и косточки плавятся.

– Сердце не томит?

– Самую чуточку.

– Частит оно?

– Нисколько.

Костяное кольцо с хитрым узором: жемчужина и два выходящих кругом нее дракона. Похоже на гарду ниппонского меча, такие привозят нам готцы, а им из-за края моря – вездесущие рутены. Эта штучка вроде тоже из Сипангу и тоже гарда, только, как объяснила мне одна из девок, не для узкого клинка, а для круглого жезла. Край какая-то стерва наточила – для своей личной надобности, я думаю. Отнял.

– А вода не остыла? Лойто попросите подлить.

– Да он стесняется. Я его вообще прогнала. Ничего, вокруг меня воды много. Не вся еще на пол выплеснулась.

Я на цыпочках подобрался к двери купальни, не глядя на женщину, и задвинул внутреннюю щеколду. То же проделал с дверью пытошной.

...Нет, кольцо нельзя. Вывернется не в ту сторону или вообще сорвется с места. Но рядом с ним...

Вот оно. Тоже с далеких островов и тоже у девки отнято. Страпон, или страппато. Тисненная кожаная броня на трех пахотных бычков – одного длинного, двух коротких. Ремни, чтобы укреплять эту гадость на талии и бедрах. Прорезы по всей длине тарана. И на самой середине сплошняком вживлены (иначе не скажешь) крошечные мутноватые алмазики с колючей гранью. Кому из гостей могло быть такое по нраву? Вопрос не ко мне, а скорей к готской же Супремe, что обожает судить всякие извращения.

– Теперь выбирайтесь из воды, сэниа Гита.

Я слегка поддержал ее – лесенка, чтобы входить в воду и выходить из нее, крутовата. Почти что на руки принял. Усадил на каменную скамью.

– Сэниа, – облизнул губы. – Меня тут нет вообще. Ладно? Такой вам сон снится.

Развернул пелёнку и не обинуясь вложил пальцы в отверстие. Ну да, прямой пергамен, который от воды только слегка набух, но не стал намного мягче.

– Вот, – кинул ей горячую тряпицу, что дожидалась своего часа в самом низу лежанки. – Сожмите крепче, чтобы не остыть. Я сейчас.

С лихорадочной быстротой разделся в углу и напялил на себя сбрую. Подошел и раздвинул своими бедрами ее бедра, откинув в сторону ветошь. Крепко уперся руками в стенку.

– Глаза прикройте. Сейчас будет боль. Но не самая страшная, верите?

– Хельмут, – ответила она тихо, – я собиралась уйти, не познав ни одного из проклятий нашей праматери. Ни первой брачной ночи, ни родов, ни даже тяжких регул... Нет ничего плохого в том... что на самом пороге... одна из тех бед меня таки настигла.

От первых же слов моя крайняя плоть восстала, и когда женщина договаривала последние, я уже с предельной осторожностью погрузился в тесное отверстие. Гита застонала сквозь стиснутые зубы, но я, как по наитию, запечатал этот стон поцелуем. Повел чуть дальше – и внезапно ударил со всей резкостью. Слегка повернул и тотчас вышел в струе тяжелой и темной крови.

– Всё, милая, – почти прошептал я. – Закрой там поплотнее, а то вся твоя священная влага вытечет.

Поспешно закрутил вокруг чресел тряпку, черпнул свежего кипятку из чистой посуды, что тоже стояла на огне, и пошел заваривать травяное питье. Прихватил и склянку с мазью.

– Вот, сэниа, держите, – втолкнул ей в руку «пивной бокал». Это отвар пастушьей сумки. Отменно кровь затворяет. Знаете?

– Сама чуточку ведьма.

– А раз ведьма, то мазью сами намажетесь, уж это я показывать не буду. Да!

Тут я сообразил, что в банной комнатке слишком жарко и опасно для раны, и поспешно объяснил Гите, что надо от-

сюда уходить. Но пока не в ее палату. Пока объяснял, загреб ее в охапку и понес.

– Вы ведь не побоитесь вида этих...

– Посмотрим.

Я опустил ее на одну из скамеек и накрыл сухим, а потом отошел к противоположной стене и отвернулся.

Всё-таки слышно, как она там возится. А скотский хомут рассадил мне всю промежность, и оттого я никак не могу успокоить свое мерзкое желание...

– Что, получше стало, сэниа?

– Да, Славно холодит, однако. Мята?

– Есть немного.

– Хельмут!

– Да, сэниа?

– У тебя есть на чем покататься, кроме как на шибенице и на растяжке?

Меня круто развернуло от стенки прямо к ней.

– Во дворе детские качели на дубовую ветку заброшены. Старые совсем.

– Неплохая мысль, но *на двор* мне пока не хочется, – Гита рассмеялась почти неслышно, но так... так, что я снова вспомнил те отцовы слова.

– Госпожа моя, в чем дело с вами?

То есть, не съехали ли вы часом с панталыку от переживаний.

– В том, что эту твою мазь потребно втереть в рану тем же

оригинальным особом, каким рану нанесли. А у меня ноги в коленях подкашиваются и вокруг самого устья как заноз навтыкали.

Тут она встает, придерживаясь за стенку, – и направляется прямо ко мне. Молча подтягивает меня к одному из макетов и нажимает на плечи, сажая на основание. Прodeвает кисти рук в обе глухие петли дыбы.

– Блок твоей игрушки на стопоре?

– А?

– Думаю, что да. Берись обеими ручками за раму и держись вмертвую. Не шелохнись только, за-ради Бога.

«Командовать всецело буду я».

Теперь уже моя набедренная повязка летит на пол. И Гитино покрывало. Она встает передо мной, так же крепко, как и я, удерживаясь руками за петли, как я за косяки. Легко дострагивается до моего бунташного приятеля своей порослью. И вдруг садится на него верхом – крайне бережно, едва касаясь, и от понимания, как ей снова больно несмотря на то, что главный вес приходится на руки, от ужаса и непоправимости того, что я вот-вот совершу, меня захлестывает волна абсолютно безрассудного наслаждения.

И мы тотчас размыкаем связь.

Чуть поостынув, я слышу Гитино:

– Хельмут, всё моё тряпье сожги во дворе. И бесприменно чтобы земли не касалось. Там, конечно, не одна кровь, но всякое прочее. Проследишь?

Я кивнул, едва ли понимая ее слова. Мы оба еле дышали, однако отчего-то улыбались, как парочка заговорщиков.

– Знаешь, как нашу малую шуточку называют суны? «Тот, кто разбил ворота крепости тараном, остаётся в ней, чтобы владычествовать».

– Как длинно-то, сэниа. Теперь я с вами в расчете?

– Скорее опять задолжал. Да ты не бойся, жидовских процентов не потребую. Одевайся пока и мне позволь то же.

Она уходит, я поспешно натягиваю всё, что раньше сбросил. Открываю внутренний засов соседней двери, плотно запираю смежную.

В своей камере меня ждет сэниа Марджан: густо-синяя камиза и такие же шевровые башмачки.

– Я вас слушаю, высокая сэниа.

– Хельмут, я хочу увидеть твой Торригаль.

Снова и снова на том же самом месте...

– Что, плохая примета? Я могу его сглазить?

– Нет, высокая сэниа.

– Что ты затвердил – «высокая» да «высокая». Гита я.

– Да, сударыня Гита.

– Раз я сударыня – повинуйся. Объясни хотя бы.

– Вы уstraшитесь.

– Он что – на вид еще паскуднее здешней твоей выставки?

– Нет. Но...

– Но пытaть меня вам не приказано. Слушай, я завтра только и буду, что на твой нагой двуручник пялиться. Оно

тебе надо?

– Меч не здесь.

– Уж думаю. Ты его возле постели держишь. В палисандровом футляре с алой бархатной обивкой. Дед выдал.

– Пойдемте, – решаюсь я.

Беру ее за руку и вывожу на ночной воздух, отворяю дверь, ведущую наверх, в спальни. У действующего мастера всегда комната отдельная, даже если вся прочая семья спит в одной светлице вповалку, а наш дом для нас велик.

...Торригаль ныне спит в широком ларце отдельно от своих ножен – в ложементе две выемки. Всё то время, что я был не занят с сэнией Марджан, я в поте лица правил оба лезвия, хотя они и так были безупречны и могли разделить надвое парящую в воздухе пушинку. Он великан: почти пяти футов общей длины, прямой широкий клинок с притупленным острием, удлиненная рукоять – на две широких мужских ладони. Рукоять обтянута акульей шагренью со светлыми костяными бугорками – чтобы ладонь не проскальзывала, – и увенчана позолоченным навершием. Крестовина широка и пряма.

– Он прекрасен, – говорит сэния. – Серебряное зеркало Луны, золотое яблоко Солнца... Разве можно его бояться? Быть может, только из-за того, что у него два лица. Двуликий Пхурбу – охранитель и гроза демонов. Рутенский, романский Янус, бог дверей и переходов.

В самом деле, с каждой стороны наголовья рельефно

обозначено лицо: вверху мужское, внизу, еле заметное для сэнии, – женское.

– А почему лица разные, Хельмут?

Я неловко объясняю:

– Мужская и женская сторона клинка. Заточка лезвий тоже немного отличается.

– Поняла. Здесь написано: «Всякий раз, опускаясь вниз, я поднимаю к небу человеческую душу». А на женской стороне что?

– Его имя. Торригаль. Дословно – «Певец славы Тора».

– У вас в роду есть какие-то приметы насчет каждой из сторон?

– Нет. Но я покажу всему народу главную надпись, – говорю я.

Сэния глубоко кивает:

– Я удовлетворена. Теперь расстанемся. Завтра ко мне не подходи и со мной без нужды не заговаривай. В рыдван близко от меня не садись – лучше вообще коня попроси. И пусть твой милый Рутгер в меня еду больше не пихает. Так надо. Ну... спокойной ночи нам обоим.

С раннего утра за нами приезжает объемистая франзонская карета с четверной упряжкой и новомодными рессорами. Трясет всё равно, мой завтрак – солидный кус мяса с брюквой – такого не вынесет. Я объясняю это сыеру Филиппу, чтобы получить в свое владение его караковую кобылу.

Теперь я еду обочь – форменная красная куртка, черный кожаный плащ с куколем, Торригаль в ножнах закинут за спину, – а он задом наперед и напротив моей сэнии, которая зажата между двумя... уже конфидентами, а не конфидентками.

Ехать оказалось близёхонько. Только одно меня отчего-то слегка удивило: широкая тихая река, через которую был перекинут неширокий горбатый мост – из мореного дуба и на розоватых лиственничных сваях. Вроде как не раз был на своём берегу. Вроде знал: граница между нашими землями проходит по воде. Но что по такой прозрачной и в то же время тёмной, как сейчас...

На окраине уютного, как домашние пантуфли, городка мы разлучились: честная компания направилась исполнять Очистительный Обряд, я, спешенный, отправился проверить место моего действия, которое было отсюда хорошо видеть.

Помост был – добротнее некуда: высокий, повсюду толстая чёрная ткань, лесенка с перильцами. Я взобрался наверх и первым делом оглядел плаху.

Самое скверное, когда плаха оказывается негодна. В пяти случаях из дюжины мне подсовывали старую колоду для рубки мяса, только что не разбитую на щепки. Остальные семь были вырублены из убийственно твердого дерева, причем лишь в одной была надлежащим образом устроенная выемка для головы. Чтобы не погубить Торригаль, я вынужден

был вообще отказаться от них и рубить на весу. Не топор же, в самом деле, просить?

Но та штукавина, что возвышалась посреди целой горы... не опилок, нет, и не соломы, а корпии темного цвета, – эта плаха выглядела так профессионально, что меня даже слегка замутило. Ни единой царапины. Мягкий, любовно выглаженный бук, ровная полукруглая вмятина спереди, на другой стороне – широкое бронзовое кольцо. Чуть низка, пожалуй, чтобы стать на колени. Сэниа об этом догадалась...

Я как мог отгрёб корпию от плахи и стал вымерять эшафот своими шагами. Должно быть, увидев, как я вожусь, прибыли мои будущие подручные – молодые, лощеные, как все и вся в рутенском Приграничье. Мы объяснились: хватило двух-трех слов. Потом я спросил, когда я понадобится и не требуется ли мне возвышаться столбом посреди помоста до прибытия гостей, как это делается обычно. На что они ответили, единым жестом указав мне на зрителей.

Вот, значит, как. Ни толкучки, ни срамного интереса – кто-то прохаживается, кое-кто сидит на земле со скрещенными ногами. Подходят новые персонажи, неторопливо устраиваются рядом со старыми, переговариваются. Взгляды вовсе не прикованы ни к черной махине, ни к нам с Торригале: напротив, скользят мимо, как бы по касательной к кругу. Будто здесь не разыграется сего же дня мистерия года...

Но не тащиться же мне по такому случаю в таверну, которая виднеется в одном из проулков! Напыюсь еще некстати

или покалечат.

Я потребовал от одного из моих парней принести мне бутылку с легким пивом и чего ни на то съестного, чтобы мне никуда отсюда не уходить.

И стал ждать.

А народ всё копился, капля за каплей, грошик за грошиком.

Появились стражники, без суеты очистили проход.

Теперь я сам встал, закутался в кожаную накидку с глубоким прорезным капюшоном и оперся на свой нагой меч.

Я угадал время почти точно.

Уже подъезжают. Чёрт, как быстро...

Карета, та самая, что в первый раз, – серебро на черном. Самый благородный металл, по мнению скондийцев, – именно серебро.

Мою сэнию на сей раз не выводят – сама идет вниз по тонкой лесенке, тяжеловато, правда. Девушки спускаются во след и берутся каждая за свою руку. Все три величественно идут по самой середине широкого пути.

Они уже здесь. Девы кланяются и отступают в толпу, и когда сэниа Марджан ставит правую ногу на первую ступеньку, берется правой же рукой за перила – юнцы наклоняются и слитным движением подтягивают ее кверху.

Вот они обходят эшафот по всем четырем сторонам, кланяясь собранию – только теперь я понимаю, как много здесь

людей и какие они тихие. Сосредоточенные...

И вижу, какой плащ на сэнии. Драгоценный скондский из тех, что они делают для дарения знатым иноплеменникам: тончайшее сукно, свалянное так плотно, что не всякий дождь пробьет и не любой холод одолеет. Широкие ниспадающие рукава, глубокий капюшон с узкой оторочкой из кованого серебряного кружева. По черному фону – богатейшие филигранные застёжки во всю грудь, длинные и тоже серебряные. Немного смахивает на карнавальный скелет с его ребрами и черепом или наряд колдуньи, но красиво. Мне с моим жалованьем на такое добрых два года копить.

Госпоже Маргарите он, однако, чуть великоват, что особенно бросается в глаза, когда она откидывает куколь, покрыв им все плечи. Не удивительно: такая родовая мантия шьется на мужчину, а продолжает носить женщина, пока не вырастет ее собственный сын и наследник.

Вот. Круг завершён, и моя Марджан на миг останавливается напротив меня, слегка кланяется и одними губами говорит:

– В порядке?

– Чисто как в колыбель ляжешь, – отвечаю я, скрывая свои слова за таким же точно наклоном головы, как у нее.

Мы выпрямляемся. На краткое мгновение наши глаза встречаются друг друга: мои – пустые, как жаждущий сосуд, ее – как две переполненные тьмою бездны. И я понимаю: если вот прямо теперь я поведу себя недолжно, рухнет целый

мир. Ее мир.

Несколько шагов сэниа делает лицом ко мне и лишь перед самой плахой оборачивается и бросает на нее взгляд. Снимает мантию, передает одному из юнцов, который бережно сворачивает ее и укладывает в припасенный короб. Под плащом синее платье такого же простого покроя, как и все Гитины. Другой юнец помогает ей стать на колени, она не торопясь ослабляет завязки, пока ворот не сползет ниже плеч. Расстёгивает цепочку своего амулета, который отправляется вслед за плащом. Чуть помедлив, протягивает руку – в нее вкладывают темную повязку, которая тотчас ложится поперек лица. С силой упирается ладонями в доски. Кладет голову, ее косы приподнимают к макушке и плотно закручивают вокруг толстого кольца. Парни уходят навстречу мне.

Всё.

Я иду по чуть упругому полу, чётко впечатывая в него каблуки и одновременно занося Торригаль обеими руками. Останавливаюсь. Говорю скорее себе, чем ей:

– Не торопясь считай до десяти. К этому времени всё кончится.

Мой меч с готовностью рвется вниз, я ощущаю под его остротой лишь почти незаметный толчок. Яркая жидкость двойным фонтаном брызжет на мое траурное одеяние, тепло мягко склоняется набок, кулачки сжимаются в каком-то непонятном жесте. Я отступаю, вытираю лезвие комком спутанных нитей и бросаю их наземь. То же проделываю со сво-

им лицом, куда таки попали брызги. На пол летит и моя защитная накидка.

Ибо я не имею права ни на каплю освященной крови.

Вложив меч в ножны, забросив их за спину и коротко перемолвившись с подручными, я ухожу в примеченную ранее таверну ждать исполнения рутенской части договора.

Время тянется долго. Я уже успеваю опростать две глиняные фляги кислого «домашнего» вина, когда по мою душу являются – не сьер Филипп, не его молодые люди, а двое чужеземного вида мальчишек, пестрых, как райские птицы, и вертялых, как ящерки. Пажи некоего очень важного лица.

Мы трое почти бегом проходим через редкую толпу и вскорости добираемся до весьма солидного особняка. Там меня с рук на руки передают майордому в цветном бархате и с золотой цепью на груди.

Ведут по коридорам и без промедления внедряют в роскошно убранную коврами гостиную, единственная мебель в которой – высокий резной кабинет из мореного дуба со множеством ящичков и стол с двумя креслами.

Из одного поднимается навстречу... Персона средних лет. Очень значительная. Такая значительная, что не соизволила даже приодеться под стать гостевой комнате.

– Мое имя и титул ничего вам не скажут, молодой мейстер, – говорит персона глуховато и как бы себе под нос. – Вами остались более чем довольны. Там, на столе, ваши двенадцать марок и то, что мы решили присовокупить.

В прошлую бытность тут я долго приучал здешних жителей, что палачу никто не ничего не дает из рук в руки – соседи будут от тебя шарахаться, как от зачумлённого. Получил по слову своему.

– Теперь ещё об одном. Сэния Марджан предупредила нас, что в вашем краю палач имеет право на одежду казненного. Мы хотели оставить ее наряд в память того, что было совершено сегодня, и согласны выкупить полную стоимость этих вещей. Если б вы захотели их продать, такой цены никто бы вам не дал.

На время он умолкает.

– Вы говорите о мантии?

– И о дешевом амулете, который сэния носила как защиту, как она говорила, от нечаянной смерти, – кивает вельможа.

– Я возьму и то, и другое.

У ножки стола – тот самый мягкий короб, длинный, исполосованный тонкими ремешками и с удобной ручкой для переноски.

– Откройте и разверните, прежде чем решить, – предлагает он.

... В лицо мне прянул удивительной красоты алый цвет. Цвет вечернего неба и солнца, парусов на закате, огненных бликов на июньской ночной воде, кожуры маленьких заморских апельсинов. Все это сплавлялось в одно и переливалось наподобие остывающего металла. Оторочкой куколя служил узкий золотной позумент. Парные застёжки литого золота

изображали – начиная снизу – быков, львов, орлиные головы и крылатых ангелов, повернутых, как и прочие фигуры, лицом друг к другу.

Двуличное сукно. Мантия скорби и мантия торжества.

– Ну и как тебе это, приятель? – усмехнулся мой знатный собеседник, по-прежнему пряча лицо и голос в неряшливую седоватую бороду.

В это время я уже нащупал в складках тот самый орешек или желудь и крепко зажал в кулаке.

– Такого и у короля скондского, я думаю, нет.

– Да уж, и в самом деле нынче нет, – проговорил он с неясной усмешкой, глядя, как я заново сворачиваю плащ и запираю укладку, стягивая ее ремнями.

Теперь я могу с вами попрощаться, сьер? – сказал я.

– Сир, – ответил он. – Прощай и ты, дерзкий и безрассудный юнец. Последнее, о чем попрошу тебя, – не бери отсюда никакой охраны. Иди один, пешком и зарывайся поглубже в лес. Вообще не шибко домой торопись. Запомнил?

Я запомнил, но тогда еще не понял. Не понял и тогда, когда то ли миновал пограничную реку с её темно-прозрачной водой, то ли нет. Поспешая по сумеречным тропам с мечом за спиной и укладкой через другое плечо, я заново перебирал всё, что произошло в эти два дня. Мысли эти настолько меня донимали, что я не утерпел – вынул из кармана талисман и поднес к свету полной луны.

... Простой самоцвет. Правда, хороший, из тех, что ювелир может отделать весьма изящно. Я подумал, что, скорее всего, неблагородный опал. Он полый, дырчатый, изнутри что-то глухо постукивает – камешек поменьше. «Коровий бог». Такой ищут детишки в речном песке и носят их затаженные матери, чтобы не сронить дитя.

Камень будущих рожениц.

Я первый и последний раз в своей жизни закричал от боли – и от внезапного прозрения.

Отцовский двучичневый плащ, материнский амулет.

Как она узнала в первый же день, даже до этого дня, скондская царевна-смертница, рутенская колдунья?

Но она, там, где она была теперь, – знала наверняка.

И когда мысль об этом стала прямо-таки невыносима, перед моими глазами неким вывернутым наизнанку утешением встала курьезная картинка: два намертво стиснутых кулачка с большими пальцами, азартно выкинутыми под прямым углом.

II. Успение Торригалья

*«О Дюрандаль, булатный меч мой светлый,
В чью рукоять святыни встарь я вделал:
В ней кровь Василья, зуб Петра нетленный,
Власы Дениса, божья человека,
Обрывок риз Марии-приснодевы.
Да не послужит сталь твоя неверным,
Пусть трус тебя вовеки не наденет!»*

Песнь о Роланде

Некоторое время я стоял как обухом ударенный.

Потом зажал в кулаке подарок Гиты и хотел было – не понимаю сейчас – то ли выбросить его, то ли убрать подальше. Но повинувшись некоему наитию, на мгновение приложил к щеке и надел гайтан через голову.

И пошагал дальше.

Страшно мне не было. Ночь – наша верная служанка, а люди суеверны, им редко хватает куражу для того, чтобы напасть на палача. Считается, что все мы отменные бойцы, хотя вот это уж неверно: приемы владения клинком у нас иные, чем у меченосных рыцарей. Однако в рукопашном бою не всякий выстоит перед одним из нас – закаленные мышцы, умение сжать в кулак волю и чёткое понимание истоков боли и смерти дают нам ощутимый выигрыш.

Тем более мне. Отныне я обречен выигрывать, ибо поте-

рял даже то, чего никогда не имел.

Полная луна освещала узкую тропу сверху, пробираясь, как и я, своими потаенными путями меж тонких облаков. Четкий ритм шагов убаюкивал горькие мысли.

Вдруг – уже почти на подходе к Вольному Дому, – меня окликнули из-за древесного ствола:

– Хельмут! Постой!

Это был дед. Грузный, темный, даже во тьме легко узнаваемый и совсем незнакомый.

– Так и знал, что здесь тебя перехвачу, – говорил Рутгер с легкой одышкой. – Кроме тебя и меня, никто ее не знает, этой моховой стежки.

– Перехватишь?

– Ну да. Слушай, тебе домой нельзя. Они тебя с раннего вечера сторожат. Моя удача – думали, я мальчишку быстрого вышлю. А я сам.

– Кто – они?

– Сьер Филипп и стражники из магистрата. С ними колдун, знаешь, из тех – рутенских механикусов.

Это из-за Гиты. Из-за того, что я в ней угадал. Но как...

– Говори подробнее, дед. Мальчик сделал то, что я просил, – ну, с той грязной ветошью в бане?

– Дурак ты. Это было не в тряпье, а в теле. И семя, и завязь. Ох, ну какого святого хрена тебе понадобилось брюхатить сэнию Марджан? В тебя что, за всю твою поганскую жизнь не вложили тех понятий, что беременную казнить уж

никак не положено?

– Она знала, – ответил я почти спокойно. – Я – нет.

Мне сразу стало как-то без разницы.

– Этот Филипп, он что – думал, я их рутенские проблемы в белых лайковых перчатках решать буду?

– Не ведаю, что там вы оба думали, только сейчас всё куда хуже, чем было раньше. И ты преступник, и на мне воровское клеймо пропечатал. Как на потворщике. Если они тебя поймают, мы с Лойто сами тебя на плаху положим, чтобы оправдать семью.

– погоди, – мысли мои разбредались, как овцы без пастуха. – Ты ведь меня уже сам поймал, так веди, что ли.

– Скотина. Из-за ваших с отцом дел мне что, без истинного наследника роду остаться? Одному из-за титула его клятого вернуться к делу запретили, другого мне вручили с такой миной, будто дворянскую блевотину отдают...

Нет, он меня точно словил: ухватил обеими руками и уткнулся лбом в плечо.

– Уж так-то мне, сучку старому, твоя смерть занадобилась, можно подумать.

– Дед, – говорю я, – куда же нам теперь?

Он отстраняется, выпрямившись.

– Мне домой, тебе поглубже в чашу, – отвечает он твердо. – Лойто никаких зацепок им не даст – с невестой был, она это подтвердит с готовностью. В нашей с ним общей спальне прятались, пока ты гостью обихаживал.

Какой он молодец, мой дедусь. Мало говорит, много делает.

– Тогда прощай, что ли, – говорю я. Внутри у меня полная немота.

– погоди, – дед оглянул меня с ног до головы. – Меч твой ненасытный – это ж он тебе и нам всем подляну вчинил. Сотая смерть – и клинок против владельца поворачивается. Забыл, что ли?

– Я в это уже не верю.

– Зато оно в тебя верит, как говорится. Да ты пойми: с мечом ты фигура заметная, без него – бродяга, каких дюжина на десяток, – говорит мой старый мейстер.

Без него... И без дареной накидки.

Я это понял. И еще как-то понял вдруг, что Филипп с компанией не за мной даже пришли, а за той мантией. Сэниа Гита – лишь зацепка.

– Хоронить такой клинок, как мой Торригаль, – это очень сильный обряд надобен, дед. В него еще часть Гормовой души вместе с обломком попала. Рутгер пожимает плечами:

– Верно говоришь. Двоедушен и вдвойне кровопийца. Нет, мое-то какое дело? Сам нашкодил – сам и выправляй. Вот, я тебе даже кирку принес. Не встретить я тебя – от наших общих знакомцев пришлось бы, глядишь, ею отбиваться.

Он бросает кирку мне под ноги, вздыхает – и поворачивается ко мне спиной.

– Прощай, дед, прощай, мейстер, – тихо говорю я.

Он внезапно оборачивается и говорит строго:

– Сьера тоже не вини особо. Филипп тут разок обмолвился, что Рутен стоит промеж двух миров и черпает из обоих – из прошлого и из будущего. Только двоякой кровью и может удержаться. Из вены и из чрева.

Я как бы не слышу, что он сейчас мне сказал, но запоминаю куда более, чем слышал. Прошрое, будущее, движение вместо покоя. Кровь и семя.

Тут мы расстаемся, наконец.

Снова я двигаюсь по серебряному лесу, замершему в свете колдовской луны. Близко к полуночи, далеко от цели.

Мне предстоит совершить над мечом бесстыдство одиноких похорон. Без родичей и свидетелей, без членов нашей гильдии, что сказали бы Торригалю слова прощания и утешения.

В этом лесу не так много вековых дубов. Но каждый стоит на отшибе заметен.

Черная береза. Ясень. Бук. Этих слишком много.

Самое видное дерево здесь – липа. Цвет как брызги медовой росы, в течение двух июльских недель «лунным светом пьяны липы», как говорил поэт. Ныне они все готовятся отцвести, кроме одной – самой старой. Почти столетней. И раскинувшейся посреди своих детей и внуков.

Я останавливаюсь, слагаю с плеч ношу. Начинаю рыть землю у корней остро заточенной киркой. Земля подается

легко, но кирка – не заступ, отгребать приходится руками.

Наконец, готова широкая, хотя и не такая уж глубокая яма. Теперь нужно завернуть Торригаль.

В плащ? Я даже достаю его.

Ну уж нет.

Может быть, надеть на рукоять амулет «Куриного бога»? Получится что-то вроде бубенца, какими, будто темляком, украшают мечи правосудия.

Тут меня осенило: если даже Торригаль и навел на меня беду, то именно Гитин талисман уберег от напрасной смерти. Нет, отдавать «бога» я не стану.

Снимаю грубую красную куртку, расстилаю вдоль всего Торригалья, одетого в ножны, и благоговейно заворачиваю его. Он кажется мне теплым и слегка трепещущим, будто его изнутри согревает выпитая кровь.

Теперь опустить на самое дно...

Нет. Снова не так.

Зачем-то я наряжаюсь в мантию, причем обернув ее наружу парадной алой стороной, и становлюсь на колени перед моим мечом.

– Прости, Торригаль. Сто смертей на нас обоих. Я не хочу, чтобы ты впредь стал убийцей одних невинных, – говорю я вслух и продолжаю от всей своей скорбной души:

«„В руки мои предай себя. Не упрекай меня за зло, что я невольно причинил тебе своим безрассудством. Ибо я желал нам обоим только добра. Свидетелями моих помыслов, слу-

шателями моих речей да будут все славные клинки прошлого, настоящего и будущего!“»

Господи, что я такого сказал?

Потому что в ответ на мой зов из-за толстенных стволов выступают серебристые тени, и я с благоговейным страхом поднимаюсь с колен, чтобы их приветствовать. И читаю их имена и историю в стальных мыслях существ, которые отчего-то подобны людям своей одеждой и плотью.

Два великих меча готского героя Сиды, Колада и Тизон. Сид хотел подарить их зятям, но те весьма скверно обошлись с его дочерьми, и он забрал свои мечи с великим для них позором.

Дюрандаль, франгский клинок женского пола, что вместе с великим Роландом бился в Ронсевальском ущелье и был им сломан, чтобы ему не достаться сарацинам. Однако поскольку там оказались не сарацины, а охочие до разбоя баски, этот славный меч на деле остался целехонек.

Зульфикар, «Исполненный шипов». Меч ханифа ханифов Мухаммада. Репутация его в обществе (чьем обществе, спрашиваю я себя) безукоризненна. Хотя ему практически не приходилось проливать кровь, но из него сотворили мощнейший символ правой веры, и это дало ему поистине огромную силу.

Меч короля-медведя Артура или Артоса, легендарный Каладболг, то же Калибурн, то же Экскалибур. Дар королю от Девы Озера, которая снова взяла его к себе под воду, когда

тяжко раненного короля бриттов увезли на остров Авалон, «Яблоне́вый Сад». Там он и почивал – пока не явился на зов.

Катаны страны Сипангу. Когарасу, или «Вороненок», откованный мастером Мурамасой, «Колокол Луны», дитя Масамунэ. Когда между людьми возник спор, клинки какого мастера лучше, этих двоих воткнули в гальку на дне резво бегущего ручья. По воде плыли осенние листья...

И замечено было, что лезвие Вороненка разрезает каждый лист, что гонит на него течение, лезвие же Колокола Луны отклоняет от себя все листья, не желая даже в такой малости причинить напрасную смерть. И было решено, что мечи Масамунэ превосходят мечи Мурамасы оттого, что не падки на убийство.

Нукэмару, «Самообнажающийся», родом тоже из Страны Восходящего Солнца. Он прославился тем, что всякий раз покидал свои ножны, когда его хозяину и семье грозила опасность.

А чуть поодаль от всех – страшный черный горбун. Клинок Аттилы, гуннского «Бича Божьего», в древние времена занесенного над рутенской землей по имени Эуропа. Меч бога Ареса, или Марса. В сражении с римлянами на Каталаунских полях оба потерпели поражение, и хозяин, и его меч: Аттила был разбит, клинок оказался сломан. Что из чего следовало – загадка для историков. Позже меч славнейшего из гуннов был перекован и положен в его гробницу.

Девять славнейших боевых клинков будут восприемниками моего Торригалья...

– Обладатель незримого королевства, зачем ты вызвал нас из небытия? – звенящим голосом спрашивает Калибурн.

– Я не король, я палач, – отвечаю я, поднимаясь с колен.

– Каждый владыка изнутри палач, каждый палач – владыка справедливости Аллаха, – отвечает мне Зульфикар. – Говори, что надо тебе, и мы выслушаем.

– Я должен похоронить свой меч, чтоб его сохранить, – отвечаю я. – Он выпил сто жизней.

– Все мы тоже выпили свою сотню – и никак не менее, – говорит Колада нежным голосом благородной дамы. – Любый боевой клинок, нареченный именем, получает душу, особенно тот, кого крестили, пуская вдоль него струю святой воды. Каждая смерть несправедливого, которую он принимает в себя во время боя, добавляет к его земному бытию день или даже много более. Но когда число смертей достигнет сотни, мы обязаны уйти, чтобы предаться благородным размышлениям. Мы прячемся в парадные залы дворцов, в гробницы великих царей и полководцев, в священные озера; иногда нас хоронят в скромной могиле.

– Жизнь моего Торригалья началась не со святой воды, но с кровавой смерти, – отвечаю я. – Со смерти раскаявшегося убийцы, которому колесо неожиданно для него заменили на мой клинок.

– Говорят, – чуть кашлянув и кивая в ответ на мои слова,

добавляет Нукэмару, – что преступник, которого заставили уплатить по счету, искупает половину своего греха, тот, кто принимает свой кровавый удел как должную отплату, избегает адской колесницы, а тот, кто нарочито платит собой за чужую вину, – получает силу праведника. И любой из нас, кто пьет от праведника, обретает человеческую плоть и с ней страдание. Как знать, может быть, такова судьба и твоего меча?

– Как знать, – вторит ему Экскалибур, – может быть, и я ушел на дно озера лишь потому, что не было в гибели королевского сына, злосчастливого отцеубийцы Мордред, которую я ему причинил, никакого возвышенного смысла, и лишь кровью негодяев поил меня мой великий король.

– Знаешь, оберегающий Торригалья, в чем обычно купают новый самурайский клинок? – говорит Вороненок. – В крови первого прохожего или купленного для такой цели преступника. Чем тогда мы сами лучше твоего меча?

– Перед кем обнажает себя Нукэмару, бьет себя в грудь Меч Озера и показывает свою искренность наш Черный Ворон? – вдруг вступает в разговор кривой черный меч Аттилы по имени Иштен Кардья. – Эй, Хельмут, разве мечи палачей не вымогали людскую кровь, подобно татям? Вспомни-ка историю прекрасной Аннерль: не сам ли Торригаль требовал крови из ее детской ручки, а когда не дала – подстроил дело так, что пришлось ей подставить мечу палача свою девичью шейку?

– Такое – но не это – делал Горм, – отвечает ему с презрением прекрасная Дюрандаль. – Часть Торригалья; но всё же не сам Торригаль.

– И если описанное вымогательство было равно предвидению, а кровавый выкуп – избавлению от дурной кармы? – добавляет Нукэмару.

– О чем здесь взялись рассуждать? Я тоже христианка, – выпрямляется пылкая испанка Тизон, – и для меня любая гибель – несчастье, любая ее причина – превышение божеского закона. Но и любой грех – лишь то, что вызывает о прощении и милосердии.

– Так окажите это милосердие вот ему, – говорю я и наклоняюсь над Торригалем, поднимая его с земли. – Отмолите его невольные прегрешения.

– Полночь близится, братья и сестры, – вторит мне Экскалибур. – За дело!

Я опускаю Торригаль в яму и кидаю вослед горсть земли. Мои собеседники делают то же. Мигом вырастает рыхлый бугор, которому мы придаем вытянутую четырехугольную форму и даже ставим на ней две связанных вместе палочки. Ибо следовало мне похоронить Торригалья стоймя, незаметно, а я из-за кирки не сумел. Ворожеи и колдуньи любят охотиться за мечами палачей, но, быть может, они побрезгают осквернить одинокий холмик с моим собственным именем, напех процарапанным на поперечине самодельного креста.

Призванные мною стальные боги войны кланяются моей

могиле и уходят.

И снова я один. Один на всей земле.

III. Хельмут находит друзей

– Не знаю, как ты, – ответил Хакон, – а я считаю, что в последние годы уровень клиентов сильно понизился.

Кристофер Хамфриз. Французский палач

Всё в жизни начинается с дороги – и всё ею кончается.

Первое приключение мальчишки, который в полдень удрал от настырного материнского глаза, завершается открытием неведомых стран там, за океаническими просторами.

Сон охмелевшего подмастерья, что поздним вечером заблудился на пути из таверны в бордель, приводит его к ногам горделивой царицы эльфов.

Тяжкий путь из материнского чрева легко уводит в глубины земные.

И есть ли что на свете, помимо дальних путей, для того, кто ничем не обременен?

Так думал я, шагая на запад по широкой пыльной тропе, что протоптали среди вестфольдских полей и лугов сотни людских ног и конских копыт. На дороге всегда попадается полно народу, но что самое важное – никто не спросит тебя, кто ты и откуда. Для этого существуют постоянные дворяне. Я же предпочитал, по летнему времени, укладываться на ночлег в придорожных кустах или реже – в подлеске. Обво-

ровать меня тут было можно вровень с гостиницей, а выследить – так еще и труднее.

И вот на исходе третьего дня этого почти бесцельного похода мои глаза усмотрели впереди некую точку, что довольно быстро увеличивалась.

Путник явно шел навстречу мне по другой стороне дороги, ведя в поводу выючную лошадь с небольшим грузом в изящной перекидной суме.

Когда мы почти поравнялись, я подумал, что передо мной женщина, причем пожилая, судя по степенной манере. Но еще через минуту увидел холеную узкую бороду, что сбегала на перепоясанную хламиду из-под широкого головного покрывала, дубленую кожу щек и живые темные глазки, что уставились на меня с непонятным юмором. Врач.

– Привет вам, почтенный медикус, – поздоровался я как младший.

– И тебе привет, юный мастер, – отозвался он.

– Позволь спросить тебя, лекарь. Отчего ты ведешь коня в поводу и не сядешь на него верхом? (Отчего это меня так задело? Спросите что полегче.)

– Сын мой, это не просто конь, а драгоценный отпрыск из рода любимиц Пророка, вороная кохейлет, и она сейчас на сносях, – ответил старик неторопливо.

– Так отчего же тебе было не оставить кобылу в конюшне?

– Быть может, я не вернусь туда, откуда вышел, а кобылица с ее ношей – единственное мое достояние.

– Нельзя ли спросить, откуда это ты вышел?

– Можно, и я отвечу тебе, что из небольшого городка Фрайбург.

– А куда путь держишь?

– Куда глядят мои глаза и шагают ноги, молодой... мейстер.

Да. Он меня прочитал без запинки, несмотря на отсутствие меча и кожаного плаща с капюшоном. Интересные дела!

– Послушай, лекарь, уж коли мы разговорились. Я мог бы – чисто по-человечески – тебе помочь? (Что это со мной делается, люди добрые!)

– Кто знает, молодой мейстер, – на этих словах старик откинул свою покрывку с головы, и я увидел, что он почти мой ровесник: ну, со скидкой на то, что гладкая смуглота лица и яркие глаза скрадывают настоящий возраст. В коротких волосах, покрытых черной шапочкой, и в темно-русой бороде – ни единого вкрапления седины, вокруг черных, как омуты, глаз – ни морщинки, из-под вислых усов выступают сочные и яркие губы.

– Так что я говорю, – ответил медик в куда более живой манере, – ты ведь тот самый вестфольдский мастер-мечник, который на днях исчез неведомо куда. Не бойся, не для того я тебя ищу, чтобы донести.

– Как-то уж очень в лоб ты ищешь того самого пропащего казнедея, – проговорил я, нащупывая за широким поясом

метательный нож с тяжелой рукоятью.

– Я объясню, если ты, юноша, перестанешь считать, что твой ножик быстрее моего кинжала, – он откинул широкий рукав и, смеясь, продемонстрировал мне клинок длиной в предплечье, что как раз поместился между ладонью и локтевой впадиной: яблоко в кулаке, острие на сгибе. – Салам?

– Мир, – я вытащил руку из-за пояса и продемонстрировал ему, что в ней ничего нет.

– Тогда слушай, – заговорил он, деловито заправляя свой тесак под серебряное запястье, – насчет тебя самого как раз просто: ваши палачи скрывают лицо только на помосте, и их немного: по мейстеру на город. Не удивительно, что врач, который пользуется снятых с дыбы и обожженных ведьминской свечой, знает каждого автора этих деяний. Меня зовут к тем, кто оправдан, к осужденным я хожу сам, если ты понимаешь.

– А на сей раз тебе платили или ты занялся благотворительностью?

– Второе. Молодому дворянину собираются отсечь голову за... не знаю, как выразиться. Поединок или богохульство, с какой стороны посмотреть. Я лечил его после сунских браслетов. Ты понимаешь, он ведь фехтовальщик. Не такой уж умелый, но отваги и таланта ему не занимать.

Китайский браслет – так называется кольцо вокруг запястья, к которому на цепочках привешены бамбуковые палочки. Сущая мелочь по виду, но если вложить эти палочки между пальцев и зажать всю кисть в тиски с мягкой проклад-

кой – боль от раздробленных костей мало кто способен вынести. Особенно если знает, что никакая тонкая работа ему после того уже не дастся.

– И вылечил?

– Кого? Юного милорда – конечно, а вот нашего достойного мастера и сам Эблис бы из гроба не поднял. За некоторое самоуправство на допросе простой народ камнями побил. Юный виконт очень любим горожанами.

– И теперь магистрат ищет нового самоубийцу.

– А я ищу только Хельмута.

– Ты так меня невлюбил?

– Отчего же? Сам посуди: на такое горячее местечко без лишних расспросов возьмут любого, даже неумеху. Меня знает, как говорят в Вестфольде, каждая собака. Я, кстати, и настоящих псов лечу.

– И это ханиф? «Блюститель чистоты»?

– Хаким. Мудрец и врач. Так вот: моё слово – самое лучшее поручительство во Фрайбурге. Ты без работы и даже без клинка. Тебе нужны мы, а нам – ты. Теперь тебе ясно?

Тем временем оказалось, что он, ведя свою драгоценную кобылу в поводу, уже повернул и теперь неторопливо шел рядом со мной в ту же сторону.

– Ясно, да не весьма.

– Объясняю. Что это была запрещенная в наших местах дуэль – знают все. На трупе остались раны, которые вопиют довольно красноречиво. За такое по кардинальскому эдикту

положена петля даже аристократам. Но есть подозрение, что юноша попробовал устроить из простой дуэли ордалию.

– Суд Божий. Что за ерунда!

– За которую положен костер как богохульнику или, в виде особой милости, – усекновение головы. Милость ему окажут, не сомневайся.

– Секундантов поединка или свидетелей этого... самосуда не было?

– Нет. Ох, если бы!

– Кто был покойный противник?

– Светский секретарь магистратского суда. Редкостная сволочь, но со славой лучшего клинка в городе. Не то что наш красавчик аббат.

– Духовное лицо?

– Не совсем. Придется вдаваться в подробности. Он сын нынешнего кардинала Франзонии, не того вовсе, чей эдикт, и его блистательной конкубины Марион де Лорм. Образование получил прекрасное – как со стороны отца, так и со стороны матери. И поместье тоже. Аббатство зачастую не означает сана, только дает средства на жизнь, ты это знаешь? Нашего милого бастарда повсеместно зовут «Милорд экселенц», то есть «виконт – сын кардинала», но истинное его имя – Арман Шпинель де Лорм. Мамочку произвели в потомственные дворянки по поводу рождения кардинальского первенца.

– Вот отчего молодцу пришла идея восстановить справед-

ливость приватным и в то же время сакральным путем. Верно?

– Я вижу, что не ошибся в тебе.

– И меня зовут воздать этому Арману ту справедливость, на которую я только и способен. Облегчить ему участь, так? Немного же тебе нужно!

– Я делаю что могу, а Единый Бог – всё остальное, – ответил лекарь степенно, поглаживая длинную бороду тонкими смуглыми пальцами. – Вот, ты уже идешь рядом со мной и разговариваешь, не так ли?

Я рассмеялся такой логике.

– Ну, если уж иду, давай познакомимся поближе. Я Хельмут, сын Готлиба из города Бергена, палач и сын палача.

– А мое имя – Сейфулла, то бишь «Меч Аллаха». Сейфулла по прозвищу Туфейлиус.

Я не удержался, хихикнул. И звучно.

– Так меня прозвали христианские студиязы Кордованского университета, что в Готии, за пылкую любовь к трудам ибн-Туфейля, великого медика, философа, поэта и автора нравоучительной книги о Живом, сыне Сущего, – пояснил медик.

Всё это я пропустил мимо ушей, лишь подивившись такому букету добродетелей:

– Уж больно ловко ты клинком владеешь для поэта и философа.

– Тот, кто лечит раны, должен представлять, как их нано-

сят. Я же говорил тебе.

– А как с твоими способностями следопыта – тоже врачебная надобность?

Это не мои, а моей валиде таланты. Супруги. Постой-ка!

В это время его вороная издала какой-то горловой звук, похожий одновременно на рычание и стон.

– Это ее сроки приходят – так я и знал! – Сейфулла всплеснул руками. – Сейчас отведу мою Дюльдюль в укромное место. Ты знаешь, конечно, что лошадь – единственное из животных, которое умеет задерживать роды, и самое стыдливое из них, ибо использует сие умение как средство не складывать своего бремени на виду у всех.

Он спустился с дороги, заметив невысокие, но довольно густые деревца, и привязал кобылу к одному из них, а потом вернулся ко мне, сидящему на траве, неся в руках переметную суму.

– Там мои инструменты на случай, если пойдет не так. Тот жеребец, что ненароком покрыл мою ласточку, был уж очень крупным, но красавец из красавцев и тоже древней крови. Так что я, иншалла, не буду в убытке.

Станный расклад выходит: у него даже слуг нет, даже дома – одна невидимая жена.

– Как получается, что ты всё на ходу, Сейфулла, и никаким мохом не обрастаешь?

– Пророк завещал каждому из нас быть на земле чужаком или странником. Вот я и следую этому завету.

Ну, теперь странников было по крайней мере двое. Слушая тихую возню за спиной и пустяковые врачебные байки, которыми развлекал меня Туфейлиус, я неотступно думал: что же с самого начала заставило меня заговорить с ним, какое очарование? И отчего я так скоро смирился с той не вполне понятной задачей, которую он на меня возложил?

В это время из кустов послышался какой-то тихий, но членораздельный зов.

– О-о, всё в порядке, – он поднялся и не очень изящно поковылял в сторону самозванной «родилки». Ногу, похоже, отсидел.

Я двинулся за ним – и увидел, что из кобыльего укрытия выскользнула какая-то невнятная темная тень.

Около родильницы стоял крошечный темный детеныш, и она усердно его облизывала.

– Хорош. Голенастый такой... Ну и как мы теперь пойдем с такой прибавкой?

– Очень просто. Сейчас Дюльдюль покормит, и я поведу ее дальше, а дочка побежит следом. Так поступила их маленькая родоначальница, Черная Кобылка Старухи с плоскогорья Неджд, таковы и они все. Я бы мог и сесть на мамашу верхом, но не стану этого делать. И не пущу ее быстрее чем шагом, хотя ее дочка вполне способна идти рысью.

И в самом деле, кобыла шла ровно и бойко, а ее малышка трусила за ней с такой прытью, будто ей была по крайней мере неделя.

Вскоре наша курьезная процессия вышла на окраину Фрайбурга.

Продравшись через густую и жирную грязь, обычную для таких небольших городков, мы оказались перед гостиницей, в которой жил Туфейлиус (хозяин вроде как даже удивился), устроили Дюльдюль с ее драгоценным приплодом в конюшню и заказали еду в комнату.

– А как же твоя жена, Сейфулла? – спросил я, когда мы расправились с тушеной бараниной и целым возом тушеной репы, которую запили: он водой, я – жиденьким пивом. – Ее ты даже не кормишь?

– Никто не может видеть супругу ханифа, кроме него самого и тех ближних родичей, которые никак не могут на ней жениться, – с комической важностью ответил он. – Ты в числе запрещенных ей.

И мы отошли ко сну.

На следующее утро Туфейлиус потащился со мной прямо в магистрат, где меня в установленном порядке оформили на... гм... выполнение стандартной испытательной процедуры для ввода палача в официальную должность.

– А теперь как – пойдем к милорду или отыщем тебе оружие? – спросил он.

– Оружие, пожалуй. Чье оно?

– Покойника. Богатую коллекцию собрал. Я знаю, что у каждого из вас должен быть свой собственный меч, но у него их оказалось несколько, и все ныне без хозяина. Прочие-то

ваши хитрые штучки – казенные. Собственность города.

Мы получили ключи и пошли подбирать меч к голове. Клинки, числом шесть или семь, были сложены в сухом подвале, но без особой бережности, и мой врач подносил то один, то другой к узкому зарешеченному окну:

– Смотри, вот широкий скимитар. Про такой говорят, что когда им наносят удар по шее и спрашивают казненного: «Тебе не было больно?», – он кивает и лишь только тогда голова отваливается с плеч. Имя ему – Аль-Баттар, то есть «Задира», «Вояка». Посмотри, какая золотая вязь на лезвии! Им пользовались и в бою – носитель этого меча был некогда в большом почете.

А вот меч из Сипангу, именем «тати». Им пользуются в ритуале, когда тамошний рыцарь, познав свою вину, вонзает себе кинжал в живот. Его друг тотчас же должен отсечь ему голову так чисто, чтобы она повисла на лоскуте кожи. А от ваших тупых мечей и топоров головы прыгают по эшафоту, как лягушки и тело грохается наземь, будто мешок с брюквой. Сушая непристойность!

– У твоего протеже казнь будет очень даже легкая, чистая и пристойная, – успокоил его я. – Иначе зрители просто растерзают исполнителя второй главной роли... Слушай, а то, что он вообще перестанет жить, тебя не трогает?

– Каждый из нас обречен смерти самим своим рождением в гнилой туман этого мира, – ответил он чуть напыщенно. – И всякая жизнь есть сон во сне. Не лучше ли будет проснуть-

ся?

– Ну, тебе, я думаю, виднее, – пробормотал я, вытаскивая из-под каких-то тряпок узкий меч с длинной простой рукоятью.

– Норманнский боевой, – тихо вздохнул Туфейлиус. – У них тоже кончик часто бывал притуплен, оттого что ими нужно было не колоть, а рубить доспех. И, смотри, у него уже есть имя.

– «Гаокерен», – прочитал я. – Какое странное...

– Это побуквенная передача с языка фарси. Смотри, на другой стороне вязь наподобие той, арабской.

– И что значит?

– Не удивляйся. «Древо Жизни». Или «Мировое древо». Видишь, на перекрестье такой рисунок вычеканен – золотистый ясень с листвой и корнями?

– Возьми его, – после паузы продолжил врач. – Мне кажется, Аллах дает тебе хорошее предзнаменование.

Так я и сделал.

Потом мы еще раз поговорили со служителем магистрата, который вплотную занимался делом милорда Шпинеля. Как я понял, нашего подопечного стоило пытаться разве что во имя оправдания. Не ради того, чтоб доказать вину, а чтобы утвердить невиновность... Или изобличить того, кого он покрывал. И что никто не хочет ни пытки, ни той правды, которую она предназначена подтвердить.

С этим я взял под руку смиренного Туфейлиуса, который

кстати переоделся из своего скондского врачебного балахона в штаны и куртку, и отправился в тюрьму – полюбоваться на предмет моих будущих забот.

Его камера понравилась мне сразу: сухая, не очень вонючая, а что нет ни стула, ни стола, ни кровати с ее блохами, лишь чистая прошлогодняя солома, – так это располагало узника к покаянию, не доставляя ему истинного ущерба.

Сам наш юный милорд сидел, обхватив руками коленки, и единственное, что я разглядел в полутьме, – густейшие золотые кудри, что падали ниже плеч широким веером. На звяканье дверной щеколды он поднял голову – и его неуместная красота поразила меня в самое сердце.

Глаза прямо-таки смертельной синевы. Тонкие, дугой брови. Изящно вырезанные линии носа и губ, которые подергиваются в острой усмешке. Лет шестнадцати и еще безбородый – таких, как я слышал, старинные развратники именovali «миньонами», то есть «любимчиками».

– О, сразу двое на одну мою голову. Или, может, я сам не заметил, как вторая выросла? Драконья или еще какая?

– Милорд экселенц, я же ваш лекарь, – негромко сказал Туфейлиус. – Не узнали?

– А-а. Теперь узнал и благодарен. Безупречная работа! С такими пальчиками, что теперь у меня, стоит научиться брать одно просяное зернышко двумя тростинками. Чтобы, знаешь, сытнее казалось... Ну хорошо. Кто из вас, ребята, будет по мне сначала работать? И какое снадобье прописано

на этот раз – дыба? Чтобы уж мне наверняка погибельной остроты в руки не взять. Верно?

Мы замялись, озадаченно глядя друг на друга.

– Ну, первым, я думаю, палач, затем лекарь, потом снова палач, потом наш Сейфи – и так до самого конца, пока и лечить будет некого.

– Любая беда проходит без следа, – сказал Туфейлиус. – Такая есть у вас, франгов, пословица.

– Ну что без следа – это немного преувеличено. Так как, ребята, прямо сейчас пытаться будете или сперва поговорим?

– Поговорим, – сказал я. – Приказа допрашивать тебя ко мне еще не поступало, милорд бастард.

– Во-от оно что. Если на гербе косая полоса, так и обслуживать не будете...

– Я уполномочен лишь помочь судьям определить тебе казнь, исходя из твоих же слов, – говорю я. – Пытка в точно отмеренной дозе помогает избавить человека от его вранья, хотя этим средством нередко злоупотребляют.

– Хельмут, – сказал Сейфулла, – в Сконде уже давно решили, что допрос с применением силы незаконен.

Я только отмахнулся.

– И для дворянина бесчестен, – с резкостью добавил Шпинель.

– Мальчик, – продолжил Туфейлиус, – я умею дарить жизнь, Хельмут – смерть, но честь твою спасти ни один из нас не в состоянии. Это твое личное дело.

– А если ты настроен лгать до победного, милорд, – в чем тут честь и достоинство твои дворянские? – добавил я.

Юноша отмолчался.

– Ну, я думаю, пощадят их, нежно любимых. Боли не причинят – кое-кто за это самое уже принял на себя гнев народный. Вешать тоже не будут, а просто лишат тебя твоей буйной головки. В отсечении этого органа есть нечто успокоительное и бесповоротное, ты не думаешь?

– Я имею право быть казненным моей шпагой, – произносит юноша.

– Ох, вот чего не советую. Даже у старинных трехгранных клинков вес не тот и удар слабый. Они же для уколов больше годятся, как и четырехгранники. А у тебя часом не новомодная... эта... рапира? Я всё-таки по определению человек с мечом, а не оса с жалом. Вот двуручник на тебя уже подобран прямо-таки отменный.

– Ну ладно тебе, уговорил, – он рассмеялся. – Когда встречаемся-то?

– Не знаю, но думаю – вскорости, – ответил я.

Надо держать себя так, будто для Шпинеля нет никакой надежды – иначе мы его не вызволим, а именно это подразумевает Сейфулла. Разговорить его невозможно, уже пробовал.

– Сказать тебе, как нужно вести себя на церемонии? – произношу я веско.

– Разве у тебя не будет подмастерьев или этих... магистратских служителей второго ранга? Да они мне и рыпнуться не позволят, уверяю тебя!

– Перед казнью нужно отрезать волосы, – почти приказываю я.

– Ой, нет, – отвечает он бойко. – Это единственное живое золото, каким я владею по наследству.

– Ну хорошо, попросим магистратского служителя, чтобы за них тебя придержал, когда будешь лежать на плахе. Видел, как именно это делают?

Гордо вздергивает шею.

– Не сподобился.

– А как тебе удобнее, чтоб я тебя взял, – ну, мой меч взял, – спереди или сзади?

Краснеет. Я ожидаю вспышки, но Шпинель только кривит сочные полудетские губы.

Я ухожу.

– Эй. – кричит он вдогонку, – распорядись там, чтобы мне в гроб опилок наложили побольше и посвежее!

– Он из наших вали, – говорит мне вечером Сейфулла, – святых и друзей Бога. Я иду по дорогам земли так, как он по дорогам жизни. Не задерживаясь нигде надолго.

– Это хорошо для медикуса, – отвечаю, – но не для рыцаря.

Хотя Шпинель, конечно, еще не рыцарь – выучки не про-

шел.

Наш Сейфулла удачно продал жеребенка, даже договорился, что тому подберут кормящую матку. Свою кобылу раздоил и пичкает меня сброженным молоком – редкая гадость, зато на диво укрепляет легкие и желудок. Золото врач обратил в иудейские бумажки, пригодные для путешествий, так называемые векселя. Клянется, что в любом городе, где имеется хотя бы один скондец или жидовин, их с охотой обменяют обратно на звонкую монету. Нам обоим, ибо между нами всё уже решено.

Я слушаю и думаю о своем. Потом говорю с лекарем, чтобы отточить мою мысль.

И вот, наконец, иду в магистрат с нашим проектом, который там принимают с некоторым смущением и без особой надежды на успех.

Я тоже не знаю, что из него выйдет.

– Милорд, ты ведь, можно сказать, из церковников?

– М-м?

– Ну, ведь «Шпинель» указывает на камень епископского перстня. У каноников и аббатов – аметист, у кардинала – рубин...

– А кроме того, на женщину, ведь само слово женского рода... Как «Мария». Так тоже мужчин называют. Герман Мария, Арман Шпинель...

– Ты, как я вижу, прямо-таки изысканно грамотен, в отличие от обыкновенных пажей и оруженосцев. Нам с Туфейлиусом нужен цехмейстер-секретарь. Законник.

– Быть подручным в палаческой команде? Да лучше умереть!

– Это от тебя куда как близко. Ну да, я предлагаю тебе нечто куда худшее, чем смерть. Платить своей жизнью за чужую жизнь – это легко, знаешь ли. А вот своей работой за работу другого? Тот, кого ты убил, – как раз судейский. Из чернильного племени.

– Ты не знаешь, что он сделал, – начинает и осекается.

– И знать не хочу. Неважно. Бог желал от него чего-то хорошего.

– А я хотел воззвать к Его справедливости.

– И допустил произвол. Потому что в нашем оторванном от святости мире и ордалия бессильна, и дуэль выродилась в простой бросок костяшек.

– В дуэли до сих пор находится место Богу.

– И человеческому мастерству, не так ли? Говорят, у того малого оно было повыше, чем у тебя.

Что он скажет теперь?

– Те, кто меня судил, были правы, – медленно отвечает Шпинель. – Но кроме случая – есть еще и предел человеческих сил, на котором открывается неведомое самому человеку.

Верно. Это был не просто поединок, но безумная надежда

на Высший Суд.

– Ты так доверился Ему, – говорю я. – И Он тебе ответил. Ответил твоему смирению перед Его волей – но не твоей гордыне. Отчего ты не хочешь сыграть с Ним в эту высокую игру снова? И снова? И снова?

Шпинель всё-таки еще и церковник в душе.

– Я... принимаю, – говорит он с трудом.

Мы выиграли. Все трое.

Разумеется, мы уезжаем отсюда. Как может остаться в городе тот, кого видели рядом с палачом, кто даже опустился до того, чтобы наняться к нему на службу? И сам палач, который не прошел испытания? И вечный бродяга лекарь, что то ли навязался в эту компанию, то ли привязал ее к себе?

Туфейлиус купил мне каракового мерина, Арману достался крепкий буланый мул, по уверениям хозяина, на редкость спокойного нрава. Кобыла на дороге – это, знаете ли, для конских мужчин волнительно. Где невидимая жена Сайфуллы – снова неясно. Да, кстати, ради чего он прибрал к рукам скимитар-забияку и где меч теперь? У седла нашей Дюльдюль я его так ни разу не увидел...

В отличие от моего меча под названием «Древо» и длиннейшей тонкой шпаги, которой – наряду с кинжалом – украсился наш новый помощник. Как я и догадался, это почти что рапира с круглой прорезной чашкой, причем такая же нарядная и золотая, как сам Арман. Мул от нее явно не в

восторге – его то и дело бьет концом шпаги по крупу; однако мальчик упорствует в ношении своего аристократического причиндала.

Кстати, во всем прочем Шпинель ведет себя тихо, и я знаю почему.

В первый же вечер я приказал, чтобы гонор с него посбить:

– Уж коли ты подмастерье, перетряхни в укладке мои носильные вещи. А то мошь еще заведется. Девуцы городские как раз лаванду сушат и в саше кладут, вот и проложи одежду этими мешочками.

И, всеконечно, он наткнулся на тот мой плащ. На его красную сторону.

– Это же четыре евангелиста, – говорит наш ученый мальчик. – Бык, лев, орел и ангел. Или просто человек.

Я хотел этого узнавания – и не хотел. Как наш Туфейлиус, предпочел, чтобы всё совершилось не по моей – Его воле.

А на следующее за вечером раннее утро, уже при выезде из главных городских ворот Фрайбурга, была встреча.

Женщина в дорогом лазурном плаще и синем капоре замужней дамы выступила из полутьмы и взяла моего скакуна под уздцы. Смугла, черноволоса, кареглаза, не так уже и молода, но хороша собой на удивление. И синева ей к лицу.

– Спасибо тебе, мейстер, благодарю тебя, хаким Сейфулла ибн-Якзан. Дайте в последний раз на сына посмотреть.

Марион. Дама Марион. Я-то представил себе некую бли-

стательную гетеру, куртизанку, как бы повзрослевшую копию нашего Армана. Это что, сам кардинал был такой светловолосый красавчик в юности?

Тем временем мать и сын тихо и торопливо переговариваются, из рук в руки переходят тугие свертки: судя по форме, золотые динары, тонкое сменное белье, какие-то лекарства или просто памятки. Наконец дама де Лорм отпускает сыновнее стремя и подходит ко мне:

– Сын хочет, чтобы я отдала кольцо тебе, Хельмут.

Ну конечно. Всякие сувениры так на меня и сыплются.

Тяжелое, извитое серебряное кольцо, что годится мне разве что на мизинец, и в нем прозрачный коричневаточерный самоцвет. Горный хрусталь. Морион – как знак амазонки и охотницы, Девы Марион, что танцует у майского шеста в день Святой Вальпургии.

IV. Друзья получают своего монаха

*Перебирался за пустяк сквозь уйму переправ,
Гнилых подошив не замочив, тряпья не затрепав;
Мне от не знай каких щедрот вся в лен дана
земля:*

*Я генерал степных широт, полковник ковыля.
Песня бродячего монаха*

Мы в пути, снова пылит дорога под копытами наших скакунов, и я получаю возможность предаться своим не таким уж утешительным мыслям.

Ну, положим, я пригреб к нашей компании самого натурального дворянина и самого неподдельного ханифа. Первый едет с левой стороны, второй – с правой. Тоже, знаете, прибыль. Получил какой-то странноватый меч – скандинавский с подозрительно персидской надписью. Кто бы мне ее на норманнский перевел? Тоже нечто – безоружный в наше время что голый. Вот и Сейфулла оттого же спешит одеться во все стальное.

И вот еще прибавка – какое-то странное колечко. Металл недорогой, да и камень простенький, но оба со смыслом. Ободок – хитрое переплетение двух виноградных лоз, овальный камень, почти черный, но как бы светящийся изнутри, походит на щит. Христос как защита?

На ходу я поворачиваю неплотно сидящий перстень и сни-

маю с мизинца. Стаскиваю с шеи мой охранный талисман и продеваю гайтан сквозь само кольцо. Удивительное дело! Оно ложится точно поперек «куриного бога» и так четко, будто выгнуто по его мерке. Еще бы ладанку приобрести или сшить на одном из привалов...

А пока мы снова вынуждены искать работу по душе. По душе?

Когда мне становится особенно скверно и тошно от того, что я делаю, я вспоминаю, что до утверждения нашей гильдии с ее законами и правилами дело казнения преступника возлагалось на плечи его жертв, что по временам были такими хрупкими...

Представьте себе пожилую вдову, которая пристально изучает инструкцию по колесованию вора, похитившего из ее дома серебряную посуду и мужнино золотое распятие, — и тогда вы поймете, от какого кошмара мы избавляем приличное общество.

Становясь сами этим кошмаром.

На очередном привале Туфейлиус просит меня постругать щепки для костра моим запазушным ножичком, а сам достает из глубины своих безупречных одежд тряпку и полировочную пасту на воске. Его разнообразная снасть тоже нуждается в уходе.

Арман с некоторым отвращением берется за кремень и ог-

ниво, мешочек с крупой и мешалку. Ничего, пускай потренируется, думаю я, заправляя нитку в иглу с большим ушком, которую дал мне Сейфулла. В армии его бы живо научили пшено варить в горсти и подворотнички к кольчуге пришивать.

Сам лекарь, окончив протирать свои инструменты, берет за пояс с кармашками, который носит на голом теле, расширяет его и начинает пересчитывать золотые. Вот, кстати, почему у него всегда при себе швейные принадлежности: пояс потом обратно зашить требуется.

– Туфейлиус, – спрашивает Арман, – а для чего тебе столько денег?

– Каждый ханиф должен быть богат, – степенно поясняет Сейфулла. – Ради своих жен и детей, которые его состояние и достояние по смерти на клочки разорвут, следуя закону шариата. А вначале каждой супруге махр надо выделить – это женская доля, без которой брак не брак. Еще иногда калымом его заменяют, платой тем, кто воспитал девицу, но это не совсем по закону. Вот я мою милую Рабию и вообще дважды оплатил. Как сироту и воспитанницу выкупил у моего доброго знакомого Хасана ибн Саббаха Аламути, а потом передал ей в махр... ну, неважно что. Еще и должен остался.

– Стыдно мужчине покупать женщину, – некстати вставляет Арман свою реплику.

– Уж не более, чем женщине – мужчину, как водится в ваших краях, – парирует Туфейлиус.

На том спор затухает, потому как от котелка с варевом начинается валить густой черный дым. По счастью, ячневая каша еще не совсем пропала, только хорошенько прикипела к днищу. Ну, это дело поправимое.

Когда всё съедено, Туфейлиус, чистоплотный, как кошка, удаляется на речку для очередного помыва, а мы с моим новым помощником в некотором отдалении от него драим котелок с песочком.

– Хельмут, вы оба уже меня никому не выдадите, – вдруг говорит Шпинель, опуская голову к обгоревшей посуде.

– В жизни всегда есть место предательству, – отвечаю я. – Но ведь нельзя оттого не доверять и не доверяться никому.

– Это о причине, – говорит он совсем тихо. – То, чего все от меня домогались. Убитый законник приговор хотел подписать одной женщине... ведьме. Знаешь ведь, что церковники сами не убивают, а просят светский суд казнить милосердно и без пролития крови.

– Угм. Костром, как раньше за измену мужу.

Это, кстати, не самое худшее из терзаний – с колесованием и рядом не стояло.

– А теперь я и не знаю, спасло ее это или нет.

– Милая твоя?

Шпинель даже смеется:

– Нет. Ничья пока. Просто отец и мать ее знали. Хорошо. Отец настаивал на пожизненном церковном заключении, но он был на суде не один. Так мерзко вышло.

– Думаю, погоды твое вмешательство не сделало никакой. Я уже говорил, что в жизни всегда есть место подлости? Но и доброте тоже, знаешь ли, – иногда ее находишь не в том месте, где положено.

Он кивает:

– Говорят, ваш... брат палач на костре нередко душил или багор к сердцу приставляет, а на колесе яд дает. Милосердие на манер нашего Сейфуллы.

Тут сам Туфейлиус появляется из прибрежных кустов – чистый, намоленный, благодушный. Наша доверительная беседа обрывается.

И вот снова перед нами прямой путь на запад, а под нами – наши верховые животинки. Странное чувство: мы с Шпинелем идем, куда ведет нас путь, но вот Сейфулла как бы прислушивается к чему-то всем телом.

Дорога ведет нас сквозь лес. И вдруг кончается – такое у меня чувство – на широкой многолюдной поляне.

Нет, людей не так уж много – просто они собрались на казнь. И это совпадение с недавним разговором, с настроением наших мыслей поражает меня в самое сердце. И оттого куда меньше удивляет меня тишина...

Впрочем, как мне кажется, данное зрелище не вызывает в зрителях необходимого восторга.

А прочее выглядит как обычно. Только уж очень жёстко врежется в глаза.

Посередине лысого холма вкопан столб, обложен хворостом, под хворостом к столбу привязана женщина в белом платье: одни плечи виднеются. Вокруг столба стража, оттесняет простой народ, чтобы в самое пламя не свалился от любопытства. Рядом с кучей сухих веток палач на корточках возится в чаше с огнем, веточки, что ли подкладывает. Меня уже просветили насчет того, что для таких целей используют так называемый «вечный», негасимый огонь, что каждую пасху возобновляется в одном из франзонских храмов и оттуда разносится по сей стране. Тут же выпрямился монах в рясе почти того же оттенка, что и саван ведьмы, и с плоским сосудом в одной руке.

А рядом с самым костром на тонких, но, видимо, прочных цепях распят могучий вороной жеребец.

Это называется гуманная мера пресечения.

Ну а конь-то при чем, господа? Он тоже ворожил?

– Хельмут, – тихонько стонет Арман.

– Я бы помог, только нынешний день не я палачествую, – вяло отругиваюсь я.

– Не о том я. Хельмут, подойдем ближе. Еще, ближе, – настойчиво тянет он меня.

А кобыла Сейфуллы и в уговорах не нуждается. Однако пробиться даже к широкому основанию горы мы трое не можем.

Да, теперь-то я понял. Это та самая ведьма, которую Арман пытался уберечь своей эскападой. Если бы тогда от него

добились истины – гореть обоим в одном адском пламени.

Палач выпрямляется с горящим огнем в руках. Монах принимает факел в свободную руку и начинает бормотать нечто – довольно громко, так что до меня долетают отдельные слова: «Тьма внешняя... Путы разреши телесные и духовные, Господи... Экзорцио диаволи... Огнь безгрешный и таковым делающий...» И, приблизившись почти вплотную, тычет факелом едва ли не в морду жеребца, сразу же щедро обливая его голову и холку из своей чашки.

Конь от неожиданности, испуга или, возможно, боли – почему мне знать! – делает свечу и бьет в воздухе огромными копытами. Цепи лопаются как игрушечные.

– Чудо! – пронзительно вопит монах – Дьявол оставил это создание божье, коему сковал члены наравне с цепями!

В этот самый миг за столбом ведьмы появляется тонкая фигурка в черном и с огромным как бы серпом в руке – ски-митар бьет сразу по середине столба, роняя с него дрова, а с ведьмы цепи. Обе женщины бегут к жеребцу и спешно карабкаются к нему на спину: впереди белая, сзади черная. Вопли и стоны, толпа расступается в ужасе и восторге, стражники прыскают в стороны, как тараканы. Палач еле уворачивается, монах падает чуть не под самые копыта – ведьма наклоняется, поднимает его буквально одной закованной в цепи рукой и бросает поперек лошадиного хребта.

– Поворачиваем! – кричит нам Сейфулла. – Чистим дорогу, и скорее – нас уже догоняют!

Звучит как-то странно, однако я не успеваю понять – отчего. Мы прорываемся сквозь сумятицу и уносимся прочь. Нет вовсе неплохие у нас верховые животинки, думаю я почти с благодарностью, и не сказать было сразу...

Но вот мы достигаем лесной опушки и скрываемся в тамошнем глухом и заросшем бездорожье. Сразу за нами, дробно топоча копытом, проламывает кустарник вороной, очевидно, используя тело монашка вместо тарана.

Наконец, несравненная кобыла Туфейлиуса чуть замедляет ход, и только тут мы с Арманом понимаем, как устали наши почтенные верховые животинки – чуть с копыт не валятся. И как раз теперь, будто по заказу, возникает укромная полянка посреди высоких деревьев, трав и кустов раkitника, сомкнутых вершинами. Почти что пещера.

Мы заводим коней и мула внутрь, и за нами с грохотом въезжают обе амазонки на своем вороном звере. Все мы спешиваемся, чёрная дама соскальзывает со спины жеребца змейкой, стягивает монаха вниз – тот валится в траву как куль – и подает руку бывшей смертнице. Теперь мы можем хорошо разглядеть обеих: одну в узких шароварах, кожаных ноговицах и рубахе, с небольшим обмотом вокруг головы и шеи, оставляющим на воле только полосу светлой кожи с карими глазами; другую – смуглую, черноволосую и вконец растрепанную, в чем-то вроде ночной сорочки и босиком.

– Все ли хорошо с тобой, моя Рабиа-валиде? – с совершенно трепетной интонацией говорит Туфейлиус.

– Хорошо со всеми нами, – звонко говорит его жена, показывая ему скимитар, наполовину выдвинутый из ножен. При этом она слегка отодвигает материю от губ. – Какой клинок – перерубил дуб, железо и даже щербинки не получил! Недаром его кличут Забиякой.

– Оставь себе.

– О нет, слишком тяжел. Не каждый же день приходится освобождать от цепей прекрасную пленницу.

– А ты как, Йоханна? – снова говорит Сейфулла, принимая клинок и затыкая его за пояс.

– Да меня и пытать не пробовали, трусы, – отвечает бывшая ведьма густым альтиом. – Боялись, я их в уме прокляну, что ли. Послушай, у вашего палачика зубило имеется – остатки оков срубить? Тяжело мне с ними, однако. И Чернышу тоже неудобно.

Вид у нее неказистый: плотна в кости, ступни как у Матушки Гусыни из сказок, широкие скулы, чуть приплюснутый нос, черноглаза, а космы-то – прямо как грива ее жеребца!

Тем временем монашек возится у ее ног, копошится в траве, силясь приподняться на колени.

– Милая, а этого зачем приволокла? – спрашивает Туфейлиус.

– А «этот» – мой личный инквизитор, – говорит Йоханна с подобием гордости. – Чуть не убило его, когда из моего Черныша бесов выгонял. И вообще он хоть и дурень, но честный

и сострадательный. Возьмите его, что ли, а то пропадет или нарочно прикончат.

– Красавица, – отвечаю я, – да на что нам еще один священник, когда свой имеется?

– Это вы Шпинельку имеете в виду? Да он только «Песнь Песней» из всей Библии и прочел.

Арман возмущенно фыркает – тоже мне, праведника соорил. Ну, ему недолго останется быть святым, если уж с нами повелся.

– Я знаю наизусть Четвероевангелие и Экклезиаста полатыни, – вступает в спор монах. – Умею молиться и учить сему других.

– Ну покажи мне, где сейчас кыбла находится, – усмехается Туфейлиус. – И где солнце встает поутру.

– Я умею врачевать раны и внутренние хвори.

– Да таких у нас двое из трех.

– Пишу каролинским полууставом, и скондской вязью, и вестфольдским «острым углом».

– У нас такие каллиграфы, и верно, не водятся, – хватает трех простых грамотеев.

– Я как никто другой умею дать умирающему и казнимому последнее утешение, – с некоей особенной гордостью общается монах. И смотрит мне в глаза.

Неказистый он какой-то, невидный – грязно-белая тряпка вместо одежды, редкий венчик седоватых волос вокруг тонзуры или, может быть, лысины, деревянные сандалии с ре-

мешками – чудом не потерялись от скачки. Лицо поцарапано, глаза припухли от усталости, губы полопались от огненного жара.

– Как тебя зовут? – спрашиваю я зачем-то.

– Грегориус Менделиус.

– В нашей передвижной казнительной бригаде, – думаю я вслух, – одного только попа-исповедника не хватало для полного счастья. И вообще, совестливый инквизитор – это нечто. Как решим, друзья – товарищи, – подберем этот ошметок жизни?

– Бери, Хельмут, – говорит мне Арман. – Не прогадаешь. Отец меня в их монастырь возил мальчиком, учителей при-сматривал. Ассизские братья это. Обет бедности, сострадания и учености.

А Сейфулла уже достает из-за пазухи кусок не очень сухой лепешки и протягивает ассизцу.

Тот принимает дар, отламывает крошечный кусочек, а затем запихивает в рот и его, и всё остальное.

– Только не вздумай полагать, – строго наставляет монашка Туфейлиус, – что ты тем самым избыл все свои неприятности. Аллах никогда не облегчает существования сынам Адама. Только дочерям.

Разумеется, этот церемониал принимается всеми как сигнал к всеобщей трапезе, ибо нет ничего более успокоительного для расшатанных нервов, чем добрый шматок чего-нибудь съестного.

– Эй, Йоханна, – говорит Туфейлиус, протягивая ей толстый ломоть собственноручно приготовленной баранины. – Не пойдешь ко мне во вторые жены? А то моя ненаглядная никак рядом не удержится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.